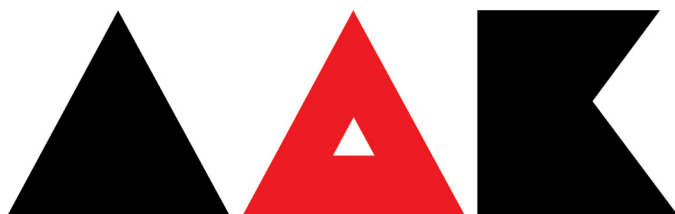


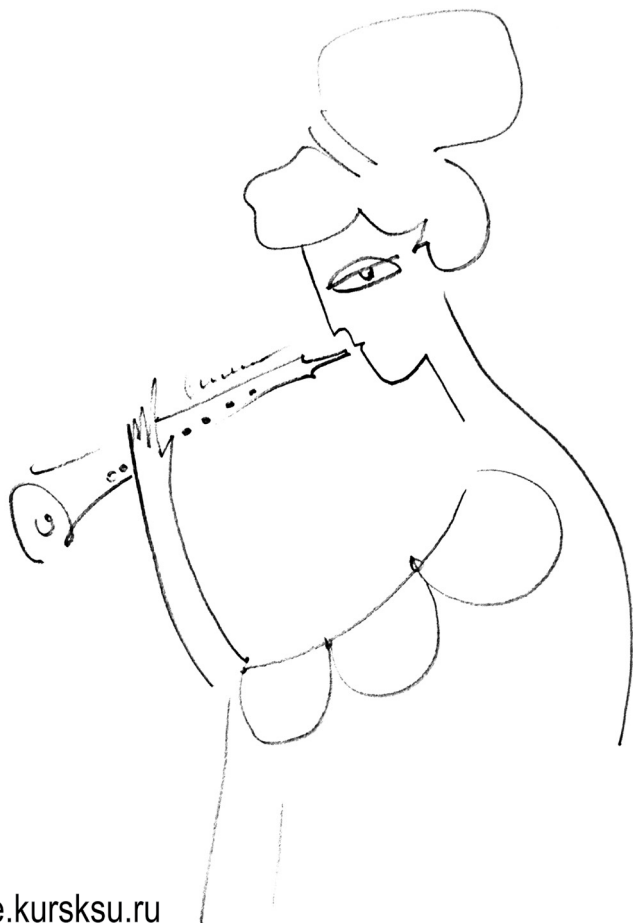
ISSN 2220-8038

ЕЖЕГОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС КГУ «ПРОЯВЛЕНИЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

№2 2011



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ



proyavlenie.kursksu.ru



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ



УДК 82
ББК 84.3 (2=Рус) 6
Л 19

«ЛАК» – литературный альманах КГУ

Учредитель – Курский государственный университет

Главный редактор и составитель – *А.И. Салов*

Корректурa – *А.И. Салов, О.Г. Шеина*

Компьютерный дизайн и вёрстка – *Ю.С. Ванжа*

Художники – *Е.С. Борзенкова, В.И. Самсонова*

Электронная версия альманаха на сайте ежегодного литературного конкурса
КГУ «Проявление»
proyavlenie.kursksu.ru

Адрес редакции: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33

Любое использование материалов данного альманаха, полностью или частично,
без разрешения правообладателей запрещается.

ISSN 2220-8038

© Курский государственный университет, 2011

© Авторы альманаха, 2011

Содержание

Поэзия

В.Н. Косо́гов

«У вокзала ночного...».....	8
«Года пройдут, но мы не постареем ...».....	9
«Пришли со спортзала в двенадцатый кабинет...».....	9
«Колодец».....	10

Л.Л. Шмарако́ва

«Я просыпалась там давно – в начале...».....	12
«Нежность».....	13
«Утро».....	13
«Оловянные солдатики».....	13
«Сентябрит мой город неистово...».....	14
«Мастер».....	15

А.А. Волобуева

«Школьница».....	18
«Пластилин».....	18
«Муза на двоих».....	19
«Тринадцать».....	20
«На Яве».....	20
«Бенц Патент-Моторваген».....	21
«Кот».....	22

Р.В. Рубанов

«Так, как я, не умеет никто...».....	24
«Прочти моё имя наоборот...».....	25
«И снова Курск».....	26
«Страшная сказка».....	27
«Вечерний свет».....	28
«Звезда Рождества».....	29
«Отречение Петра».....	29

И.С. Бобровская

«Johnny...».....	32
«Луис 30-х играет для нас...».....	33
«Мне пришла посылка...».....	34



И.Ю. Мурашóв «Верещагин».....	36
Т.М. Михайлова «Если всё ещё лето, так близок зачем горизонт...».....	38
А.А. Корчéвский «Однолюб и проститутка».....	40
В.В. Язы́нин «Какой бы жизнь прекрасной ни была...».....	42
«Я снова не осилю треть пролёта...».....	42
В.В. Маракóв «К холодному стеклу прижимаясь лбом...».....	44
«Наши дальние плавания...».....	44
«Такие дела, пацаны...».....	45
Б.Н. Яхóвич «Жёлтые лица старушек в ряд...».....	48
«Куритьвредно».....	48
«Зебры».....	49
Г.А. Гаври́лов «Как я стал деревом».....	52
Проза	
Т.А. Ортéга «Отпевание».....	54
И.В. Сóтников «Я, Они и Бэтмен».....	78
А.Б. Королёв «Как Сашка был Александром».....	82
В.П. Краснóв «Чтобы свеча не погасла».....	88

Н.В. Губарева «Арабский бублик».....	98
А.И. Салов «Качубари. Серил в прозе с единственной иллюстрацией и функцией отрывного календаря».....	110
Информация об авторах	136



Владимир Косогов



№2 2011

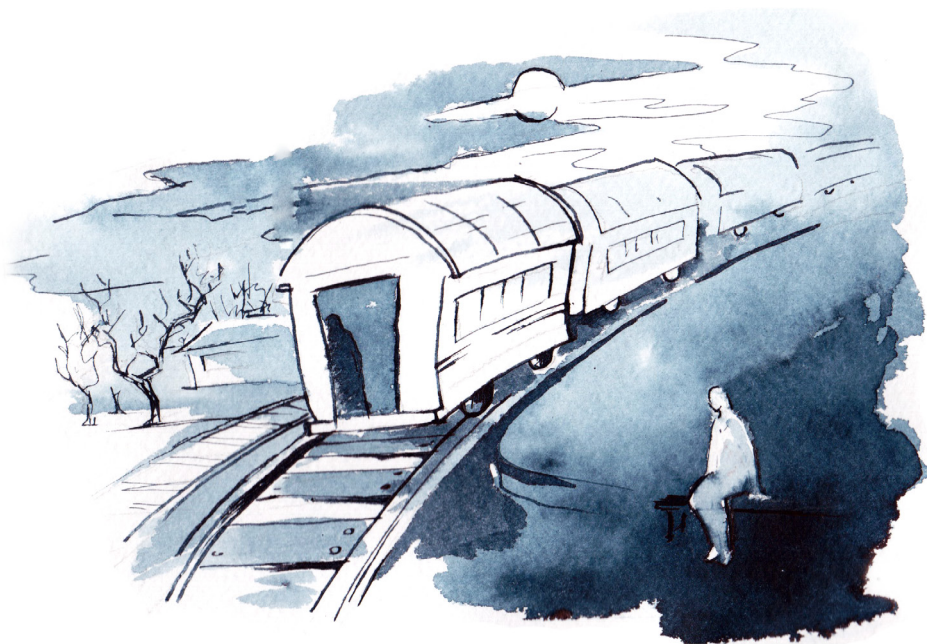
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Д. Н.

У вокзала ночного
Ничего не узнать, обомлев,
Кроме лязга стального,
Кроме треска кошмарных деревьев.

Запинаются строки,
Заикается старый мотив:
«Мы теперь одиноки,
Разлюбив, разлюбив, разлюбив...»
Мы с тобой одиноки –
Легкокрылые два лепестка.
У железной дороги,
У пивного ларька,
У ночного вокзала,
Навострив на Созвездье зрачѐк,
То ли ты мне сказала,
То ли сам это выдумать смог.

Тяжелее потери
В жизни не было, знаешь сама.
«Осторожнее! Двери
Закрываются...» В тамбуре – тьма.



Года пройдут, но мы не постареем –
Щетиной зарастём и захиреем
От жизни сволочной, бутылок, рюмок.
Однажды, выйдя в белый переулоч,

Мы станем наблюдать за облаками
И грызть окурки жадными зубами.
Но нам уже прицелился в затылок
Разбитый полк пустых пивных бутылок.

Не принимай серьёзно эти речи,
Поскольку в писанине человеческой
Кокетство от пророчества порою
Неотличимо трезвой головою...

Пришли со спортзала в двенадцатый кабинет.
Узнали, что Ромы Зыбякина больше нет.
Рома разбился с родителями в Твери.
Что там, не знаю, но никого не спасли.
Что там, не помню, может быть, тормоза...
Может быть, дальний свет ослепил глаза...
Или же вспять повернул сумасшедший шар...
Я – пятиклассник – в этом не понимал.
Не понимаю этого и сейчас,
Как это смерть выбирает – прищурив глаз?
Каков механизм? Кто дёргает за рычаг?
Кто отстаёт, кто прибавляет шаг?
Рому Зыбякина в узкий одели гроб.
Я отвернулся, вдруг не заплакать чтоб,
Вдруг не увидеть чтоб посиневших век.
Здравствуй, Роман. До свидания, человек.



Колодец

Сстулился, как манекен пластмассовый,
Отец мой и состарился не в срок.
В глазах его безудержно приплясывал
Мужицкой силы бойкий огонёк.

Колодец деревенский, перекошенный
Застрял от дома в десяти шагах.
И смотрит в воду ягодою брошенной
Кустарник на дубовых костылях.

И что-то надо делать, как-то справиться...
Отец почистил илистое дно.
И одиноко звёзды зажигаются,
Как голубые точки домино.

И ничего вовек не переменится,
И кажется, что ковш огромный свой
В колодец опрокинула Медведица,
Напиться чтоб водицы ключевой.

Аюдмила Шмаракова



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Я просыпалась там давно – в начале
Июля, в детстве. Был мой сон глубок,
И в нём слова нездешние звучали,
Леса ветвями надо мной качали,
А окна выходили на восток:
Луч солнца сквозь берёзовые пряди
Мои ресницы сомкнутые гладил.
А после было утро. Земляника
Была на вкус, как солнце. На губах
Тот запах оставался – сладкий, дикий,
Играли в роще радостные блики,
Движеньем рук невольный был размах,
И, где из тени знобкой я бежала,
Трава седая росная дрожала.
И ящерицы на камнях шершавых,
Казалось, застывали на века,
И длился полдень: бабочек кровавых
И белых не могла ничья рука
Встревожить в светлых травах над рекою.
И пахло мёдом, мёдом и покоем.



Нежность

Всемером на полу мы шептались в кругу темноты.
В золотую сгустилась свечу вся мирская безбрежность,
И в мерцанье знакомые дивно менялись черты.
Я тебе не глядела в лицо, воплощённая нежность.
Щекотала ресницами тёплые руки твои,
Прижималась горячей щекою ко слитым ладоням,
Будто знала, что скоро мы будем отсюда вдали
И что чуткие пальцы мы пальцами больше не тронем...

Утро

Утро дождливо и нежит блаженной ленью...
Дышишь капризной грацией бестолковой,
Рыжий царёныш, обиженный пробуждением,
Лев разомлевший, мальчик златоголовый.
Надо вставать, но дремота зовёт в подушки...
Кудри смешались, веки ещё истомны.
Выкормыш лета, сияют твои веснушки,
А меж лопаток – созвездие самых тёмных.
Дождь не стихает, и время на мёд похоже.
Полдень венчает твоё королевское утро.
Веет теплом от целованной солнцем кожи.
Повремени. Ненадолго. Ещё минуту...

Оловянные солдатики

...и пропадёт оловянный смешной солдатик.
Быстро забудет летящий синий шифон,
нежную балерину в бумажном платье,
капли свечей и часов полуночный звон,
блётки и марципаны, ребячий хохот,
ель новогоднюю, звёзд неподвижный рой...
Книжка мышами изгрызена. Что в ней плохо,
что хорошо – не узнает и сам герой.
Мальчик! Взрослеешь, мужаешь, крепнешь, сильный,
рыжий, бедовый, ещё не знаком с бедой.
Помнишь? – ты скинул джемпер – и в майке синей,
широкоплечий, вихрастый и молодой...



Я ведь тогда поняла: ты мужчина, вырос,
черти в глазах, бесшабашная эта статья...
Мальчик, скажи, где ты вычитал слово «низость»?
Мальчик, какая песня звала предать?
Путались ноты, слова ошалелым строем,
и не от них ли – шрам на твоей груди?
Мальчик, ты ведь рождён, чтобы быть героем,
рваться вперёд, не зная, что впереди.
Биться на шпагах, словах, на мечах и взглядах,
быть Дон Жуаном, Тилем и Сирано,
в свете софитов сражаться за тех, кто рядом,
в буре, хмелю, под парусом – всё равно...
Жить, хохотать, напролом, взахлёб, наудачу,
метко дерзить, порог родной целовать,
вдаль уходить, не оглядываясь, не прячась,
в изнеможенье падать и вновь вставать...
...Странно. Ты можешь быть гнусен, труслив и жалок,
тупить глаза, на глазах становясь никем...
Мальчик,
я бы и этого не сказала,
если б не тот солдатик в твоей руке.

Сентябри мой город неистово...
Драгоценным словесным сором
Мы бросаемся, словно листьями,
Богородицны жонглёры.
Бубенцовые, угловатые,
Вечно в пёстрых хвостах репетиций,
Как репьями, тряся цитатами,
Мы выходим потешно биться.
Философии свищут отчаянно,
Captain Black веет барским и острым,
Спор кипит, закипает чайник
И мальчишечья страсть – актёрство.
Сцена пахнет мечтой и пылью.
Мефистофели ясноглазые,
Разве важно, какими были мы?
Мы друг друга создали фразами.
Чехарда неуклюжих жестов,

Роль-пророчество, роль-потеря
И бессонный рассвет над песой...
Нынче полдень. И можно верить.
Синий плат пронзительно-ясный
Обнимает мой шумный город...
Божьи дети. Балбесы радостные.
Богородицыны жонглёры.

Мастер

Ты над нами крепко трудился, Мастер:
Пришивал цветную нить на запястье,
Каждому — любовь, бубенцы и тряпки,
Пуговки и честь.
Набивал опилками сорвиголовы,
Вот и вышли дурашливые, бедовые,
Балаган отродясь не видал порядку,
Что это — Бог весть!

Но герой в плаще лоскутном прекрасен,
Меч картонный грозен, порядок ясен:
Если ты в короне — принцессой будешь,
Рыжий — ты злодей.
Победит добро, непременно с танцами,
А потом положено обниматься,
Мастер, ты ведь всех нас за что-то любишь,
Кукольных людей.

Мастер, ты, наверно, совсем не строгий,
Рок-н-рольные у тебя чертоги,
Сигарету задумчиво вертишь в пальцах
Или пьёшь портвейн,
Говоришь ехидно, глядишь лукаво,
Что другим беда — для тебя забава,
Из цилиндра за уши тянешь зайца,
Плут и чародей.

Есть у нас один, на тебя похожий,
Только он балбес и ещё моложе.
Ты простишь ему все его гоп-компании,
Песни под гашиш,



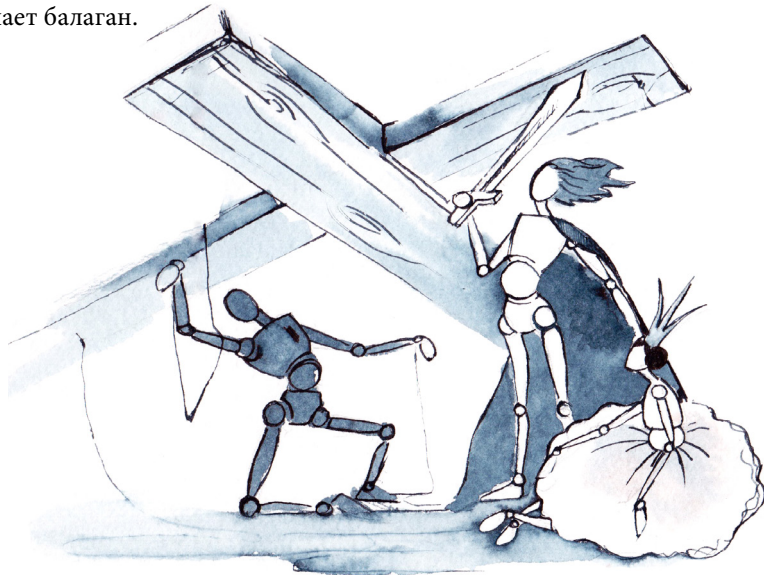
Разудалые бдения полуношные
За мальчишечьи ласки его заполошные,
Неумелую нежность при расставании,
Ты его простишь.

За похабные шутки и раннего Брюсова
Ты простишь его, заспанного, безусого
(Вру! Небрежно выбритого, взъерошенного,
Отпускающего усы).

Он хамит и вредничает, ломается,
Не умеет рук распускать, стесняется,
Мастер, ты же знаешь его-хорошего,
Он твой младший сын.

Мастер, если можно, оставь нас прежними,
В лоскутах, цветах, не мужами-женщинами,
Чтобы мы не умели мудрей и тише —
Только грохот и кверху дном,
Дёргай в танце ниточки на запястьях,
Ты же знаешь, какое нам нужно счастье:
Эти песни хором, рассвет на крыше
Да кастрюля с красным вином.

Мы ответов не услышим,
Засыпаем, куклы, тише.
Завтра звякнут бубенцы,
Снова путь во все концы.
Мастер счастлив, Мастер пьян,
Засыпает балаган.



Анна Волобуева



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Школьница

Она рисовала в тетрадках забавные рожицы.
Уроки прошаркали мимо, как в парке старик.
Ей косы мешали, и как-то схватилась за ножницы,
Отрезала напрочь и месяц носила парик.

Она никогда не пыталась использовать ластики:
Писала всё начисто, словно творила судьбу:
Старушки на лавочке, мама, сестра, одноклассники,
Собаки, медведи. И лошади – целый табун.

Она, как никто, симпатично умела быть выскочкой:
Ведь, если ты лучше, об этом молчать ни к чему.
А мне б только хвостик – чтоб точно такой, только с кисточкой,
И острые ушки, и локонов светлый хомут.

А мне б только шанс непослушно скакать в палисаднике
С пушистым волчонком и умницей рыжей лисой.
И ждать, что она мне напишет сестрёнку и братика,
Как только закончится в школе её выпускной.

Пластилин

За окном слишком серый пейзаж и усилился холод,
а дожди не умеют поить увядающих трав.
Я возьму пластилин и построю игрушечный город,
населю и сваяю для каждого внешность и нрав.

Там кисейная барышня с парубком у самовара,
оттопырив мизинец, пытается выпить свой чай.
У ребят под забором такая затеялась свара,
что воробышки, глядя на них, удивлённо кричат.

Вот бабуля в платочке в горошек, как божья коровка,
и дедуля с костыликом, сед, словно лунь, и усат.
Налеплю и девчонок поярче, прилажу обновку
и родителей сделаю, чтобы мальчишек разнять.

Ты войдёшь, как герой, объяснишь мне, что бился за Ленку;
покосившись украдкой на только что слепленных мам,

я достану из шкафа бинты, заматаю коленку.
Всё придумано мной, но откуда тогда этот шрам?

Муза на двоих

Мы из косточки арбузной,
Обронённой в стих,
Вырастим с тобою музу
На двоих,

Поливать не забывая
Молоком парным,
По дощечке отбивая
Нужный ритм.

И она распустит крылья,
Как у мотылька,
Для жилища попросит виллу
В облаках.

Но такая небылица
Нам не по плечу –
Я вязать её на спицах
Научу.

Ты из лески и бамбука
Смастеришь уду,
Чтоб она ловила щуку,
Что в пруду.

Но, напившись из колодца
Ледяной воды,
Наша дочь с пегасом к солнцу
Улетит.

Принесут оттуда свитер
С почтой журавли
Из забытых богом нитей
Дождевых.



Тринадцать

То ли Аннушкой масло разлито,
То ли Люция свет пролила.
Как трамваи, стучали копыта
То ли лошади, то ли козла –

Безотчётно, тревожно и жутко.
Старый год под колёса упал,
Будто кончилась пошлая шутка,
И пора собираться на бал!

Затанцуешься с хрупкой Наташей
До зари – не заметишь конца.
Платье куплено на распродаже,
Ловко слеплена форма лица,

Безнадёжно растеряны туфли
По порогам богатых домов.
Говорит про восточную кухню,
Про узбекские вина и плов,

Что надеется выйти за принца,
В старом замке томится порой –
Ты не сразу узнаешь сестрицу,
Увлечённый невинной игрой.

Так наступит без предупреждения
Твой тринадцатый месяц в году,
Без пяти минут третье рождение
В мир, где, может быть, любят и ждут.

А пока с головой Берлиоза,
Да к тому же с чужого плеча,
Трудно думать, как выразить прозой
То, о чём подобает молчать.

На Яве

Тоска, пустота, одиночество – видимо, гены...
Но в этом аду не могла бы прожить я и дня,

Когда бы на Яве пузатые аборигены
Не маялись вредной привычкой – любить за меня.

Они без ума от котят, хомяков, крокодилов:
Ласкают их, кормят из рук и целуют в носы.
Их вера гласит, будто их для того и родили,
Явившись однажды из космоса, звёздные псы.

Почти без забот проживают короткие сроки,
Не чая друг в друге прекрасных, но маленьких душ,
Как залпом на свадьбе, пьют рюмочку с горючкой водки.
Всегда – за себя и того... в крайнем случае – ту.

Они безнадёжно милы и по-своему правы,
Ведь с ними их жаркое солнце, и им хорошо.
А я никогда-никогда не отправлюсь на Яву
И с ними не стану дружить ни за что, ни за что.

Бенц Патент-Моторваген

Протянешь руку: «Хороший, Тузик!»
За кормом сбегает в магазин –
А он железный и заскорузлый
И пьёт противный на вкус бензин.

Не пахнет псиной, щеки не лижет.
Придёшь, расстроен, и смотришь зло:
Коня стального изобрели же
И это чёртово колесо!

Да был бы конь – потрепать по крупу,
Овса насыпать, воды налить,
А этот стал, погружённый в ступор,
Невозмутимей иной скалы.

Как франт отменный, он носит фары,
И, как у фокусника, цилиндр,
А сам горючее тратит даром:
Бежит сто метров, сжигает литр.

За это малое расстояние
Цена драконовски высока,



И, если в гору движок не тянет,
Тебе придётся его толкать.

Он годен только стоять в музее,
В стеклянной клетке, на радость всем.
А мне нет-нет – да приснится зелень,
И вы там скачете по росе.

Кот

Свобода даёт возможности пить и плакать,
И то лишь для тех бедняг, кто её найдёт.
Пока у меня из творчества только лапоть,
А стоящих критиков – вечно голодный кот.
Потрогает лапкой, коготь запустит даже,
Оставит прореху маленькую, но брак:
«Толковая девочка, умница, лыко вяжешь,
Но, честно скажу, какой-то здесь есть косяк.
Сложила бы лапки клином, читала б Ошо.
От вашей любви одна головная боль!»
А тоже ведь, гад, хватает за холку кошку
И воет чуть что какой-нибудь «ля бемоль»
Октавы пониже, да лупит чужого зверя,
И всё, как у всех: охота, еда и сон.
Тогда я кормлю кота и гоню за двери.
И снова плету из липы чудной фасон.



Роман Рубанов



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

*Ходит ночь, беременная снами,
Как большая буква «Б»...*

Так, как я, не умеет никто
говорить о тебе.
Ночь как конь ходит в сером пальто
буквой «Б»,
ходит, цоканьем серых копыт
будит сны.
Мордой в окна: кто, дескать, не спит?
Это мы!
Это мы, это я о тебе,
это сон,
он спускается вниз по трубе
на газон,
зарастает травой, сорняком,
пылью и
говорит ни о чём, ни о ком –
о любви.
Ночь в пальто чешет бок о фонарь,
а фонарь
провожает глазами январь
и, как в старь,
говорит: всё проходит, как сон.
Нет, не сон.
Разве сон – эта в небе косом
рыба-сом?
Рыба-камбала, рыба-луна,
рыба-сплю...
Ночь в пальто лошадином темна.
Я терплю,
я не сплю, я могу, как не тот,
не тогда,
Говорить о тебе. И растёт
борода
из-под неба, рассветом грозя
облакам.
Губошлёпую ночь бьёт лоза
по бокам,
и она убегает в луну
буквой «Б».
Для тебя... лишь тебя я одну...
о тебе...

Прочти моё имя наоборот,
добавь букву «е», и вскоре
тебя хмурый поезд в ночи повезёт
и высадит где-то на мор(е),

у самого берега сделает пыш-ш-ш,
ты выйдешь на берег с вещами,
и галька зелёная, цвета кишмиш,
зашелестит под ногами.

У берега ялик мелькнёт, зашумит
прибой, как соседский транзистор,
и лёгкий загар на плечах зашипит,
и ты удивишься: «Так быстро?»

А после прочти моё имя опять,
пусть «е» в окончание встанет –
затем, чтоб никто не сумел разузнать
о нашем курортном роман(е).



И снова Курск

И снова Курск, и тот же самый двор,
две лавочки под сирыми деревьями.
Мы только что вернулись из деревни,
в нас плещется ещё её простор.

А здесь трамвай пиликает, вот-вот
КАМАЗ «шестёрку» в бампер поцелует,
бухтит во сне мелодию какую-то
сквозь горло труб гигант-хлебозавод;

троллейбусы отбросили рога,
и снится им растрёпанная осень.
Я тоже засыпаю. Ровно в восемь
я как колосс на глиняных ногах,

шатаюсь, побреду в продрогший душ,
умоюсь, поскребу зубною щёткой
эмаль зубов и смою с подбородка
вчерашний сон и сладкий запах груш.

Я выпью чай и наспех расчешусь,
пиджак надену, зашнурую боты
и на работу, снова на работу
в толпе прохожих сонно поплетусь.

Окончен отпуск, и опять дела
навалятся, как снег задекабрельй.
Меня помчит троллейбус угорелый,
Хрипящий, как двузубая пила.

Радищева скользнёт под колесом,
вот Павлова, а вот он Парк героев...
Я выскочу, портфель в листву зарюю,
и на душе настанет хорошо.

Скользну во дворик. Сяду в тишине,
и город вмиг провалится сквозь землю.
Троллейбус перелезет через зебру,
знакомое лицо мелькнёт в окне.

Я закурю. Погода хороша,
и всюду тишь, лишь мятые старушки

на лавочке, моргая, как лягушки,
зашепчутся о чём-то: «Ша...ша...ша...»

Вдруг на меня посмотрят делово,
я выброшу окурок. Жизнь прекрасна!
Что на душе? Пока ещё не ясно?
А это осень. Только и всего.

Страшная сказка

Головой дракона пугал богатырь село:
На крыльцо её втащит, бывало, – соседи в крик,
Бабы крестятся, падают и разбивают лоб:
Дескать, вот, прилетел, никакого житья от них!

Богатырь смеётся: «Невежи – чего с них взять?
Поделом вам, трусы, потёмные молчуны!»
А потом грустит: «Вот была б иноверцев рать –
Одолел бы, поди...» Да нет никакой войны.



Что-то есть такое, но это не та война,
Где мечом секи, чтоб ложилась башка к башке,
Так, шалит немного продвинутая шпана,
Охмуряет народец, ползающий на брюшке.

То чего-то покажет страшное, хоть беги,
То чего-то выдаст: хоть хохочи, хоть плач...
Озоруют ребята, какие из них враги?
Только вынешь меч, а тебе намекают: «Спрячь».

Вот и пьёт богатырь на пару с мёртвой башкой,
Что служила дракону лет пятьдесят назад.
Голова с душком и народец кругом с душком,
Да со всех кустов спецслужбы вовсю глядят,

Чтоб чего не выкинул этот опасный фрукт,
Пусть он лучше пьёт да пугает честной народ...
Ну а ежели что, то расколют, потом запрут,
Лишь бы был человек, а свинья – она грязь найдёт...

А народ, хоть прост, не дурак, кое в чём сечёт:
Лучше пусть богатырь стращает, чем те, извне....
А извне из другой башки всё подряд течёт,
И пока неизвестно, чья голова страшней.

Вечерний свет

Мои слова, завязанные в узел:
вопрос-ответ...
Я дверь прикрыл слегка и сразу сузил
вечерний свет...

Вечерний свет, разлитый по паркету,
собрать не смог.
Который год погибшую планету
вращает Бог.

И тихим светом, заплетённым в звенья,
в проём двери
Господь дарует нам Своё прощенье...
Нас изнутри

вседенно кто-то молча изучает,
ища ответ.
И детский ангел тихо излучает
вечерний свет.

Звезда Рождества

Кукушку полночь выгнала из часов:
«Кукуй! Давай, отсчитывай каждый вздох».
Кукушка кукует на тысячу голосов,
В одном из них неизменно присутствует Бог.

Он смотрит за жизнью комнаты изнутри
На расстоянии вытянутой руки.
И в лампочке тусклой Звезда Рождества горит,
Её зажигают обычные рыбаки.

Числом их – двенадцать. С одиннадцатым «ку-ку»
Один из них – тот, чей поцелуй острее,
Выходит и молча вешается на суку
Старой вешалки, расположенной у дверей.

Входит хозяин. В комнате гаснет свет.
Полночь на перекрёстке колет дрова.
Роняет небо на землю обломки планет.
Бог со стремянки вкручивает Звезду Рождества.

Отречение Петра

*Пётр же следовал за Ним издали,
До двора первосвященникова; и, войдя внутрь,
Сел со служителями, чтобы видеть конец.
Евангелие от Матфея, гл. 26, стих 58*

Пётр же вне храма сидел, на дворе.
Служанка к нему подошла и сказала:
«Постой, с тем, чьё имя Иисус Назорей,
И ты был». И тем, кто с ней шел, указала

На Петра. Но он отрёкся пред всеми,
Сказав ей: «Не знаю, что ты говоришь,
Что мне до рождённого в Вифлееме?»
И подсел к огню. Над серостью крыш



Поднимался медленно, как старик,
Луч рассвета оборванного,
И раздался истошный крик
Петуха подзаборного.

Первый!

Когда же Пётр приближался к воротам,
Сказали ему стоявшие там:
«А не из учеников ли Его ты?
Постой, друг, не ты ли апостол Христа?»

Но опять он отрёкся с клятвою,
Сказав, что не знает Сего Человека.
И побрёл предрассветной слякотью
Вон из города. Придорожный калека

Сказал Петру: «Точно, и ты из них,
Ибо речь твоя тебя обличает!
Вот ведь, как в притче: «Се грядет Жених!
Где девы те, друг, что Его встречают?

Говори!» И тут же залаял пёс.
Тогда начал Пётр божиться и клясться,
что не знает он.... И взглянул Христос
На Петра. А луч за небо цеплялся,

И над крышами брызнул рассветный дух,
И заёрзало солнце на белой стене,
И запел горластый красный петух,
И заплясал на гумне.

Второй!

И вот Пётр вспомнил слово Господне:
«Прежде, нежели дважды споёт петух,
От Меня отречёшься сегодня
Трижды». И заплакал Пётр горько, и глух

Становился плач, и голос хрипел,
И камни грызли зубами сандалии,
А над ним петух песнь победную пел
И улыбку иудину скалил.

Урина Бобровская



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

*...My head's been wet with the midnight dew
I've been down on bended knee
Talkin' to the man from Galilee*

Johnny,
я надеюсь, что ты в Раю.
По воскресеньям звонишь в колокол,
ловишь форель в пруду,
вешаешь на забор мокрые удочки, смотришь,
как Джун красит окна белым.
Она поёт так же, как раньше пела.
В понедельник идёте в горы.
И вообще, ты теперь много ходишь пешком.
Старая жизнь заплечным мешком
осталась в земле у гнилья и досок.
На волосок оторвавшись от лестниц,
свитых из полосок
гостиничных простыней и трейлерных штор,
свесившись вниз,
ты смотришь, как я ставлю «Hurt»
на повтор.



Луис 30-х играет для нас,
отражаясь от кафельных стен.
Я шатаюсь в оранжевой майке
«No love – no problem!»
по комнате.
Маюсь от скуки.
Плюс 35,
опускаются руки,
и загар печатывает лицо.
Под новостные фанфары
круг недельный,
что круг сансары,
запаивается в кольцо.
Выраженные в бумаге и цвете
мои идеи лежат в углу
и ждут кормления,
вниманья, как новорождённые дети.
Я же жду похолодания.
Сонно складываясь в дугу,
проваливаюсь сквозь лето,
как сквозь подломившийся
гнилой пол,
в прозу Марины.
Там Коктебель,
и дома из глины,
и Волошин,
на древнего бога похожий,
носит венки из полыни
и ест хамсу.
Я же несу
в себе нервность жителя города,
усугублённую
веком и яростью СМИ.
Усыпанное моими костями
диванное тело,
вздыхая,
просит об осени.



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

И.С. Бобровская

Мне пришла посылка:
странный ящик,
внутри гремящий
зарядами
Тесла.
Снаружи он жёлтый.
Весь
бичёвкой
обмотан.
Пожалуй, что Ньютон
послал мне по почте
какой-то свой
местный,
придуманный утром
дождь.

Уван Мурашов



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Верещагин

Я вхожу: в просторном зале
Отголоски звона стали,
Всюду дым и чад.
Я вхожу нетвёрдым шагом:
Третьяковка, Верещагин –
Мёртвые кричат.

Солнце выжигает кожу,
Командир всё злей и строже –
Не шагнуть назад!
Сквозь пролом несутся банды:
Оборона Самарканда –
Закрывай глаза!

Над непаханным над полем
Запах крови, запах боли,
Небо цвета жил,
Батюшка взмахнёт кадилом,
Поле – братская могила.
Личных нет могил.

Лично видел, лично слышал,
Сам взбирался в гору выше,
Сам рубал врага:
Представители всех наций
Обвинят в инсинуации –
Про своих солгал!

И бежать, бежать по свету
От клевет и от наветов,
От чужих культур...
Осенью, зимой и летом
В дымке меркнувшей рассвета
Дремлет Порт-Артур...

Татьяна Михайлова



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Если всё ещё лето, так близок зачем горизонт
И так низок, зачем облака так нахмурены эти,
И зачем в моей сумке пылится прокуренный зонт,
И зачем мои мысли о лете и только о лете?

Если всё ещё юность, зачем так устали глаза
(Каждый встреченный взгляд в них мольбою о помощи тонет),
И тревожит любая, едва надвигаясь, гроза,
И обычно весёлая рифма вздыхает и стонет?

Если всё ещё жизнь, почему не взхлёб, не взхлёб –
Ни рокочущий хохот, ни происки рифм на конверте?
Уменьшается папки с бумагами розовый гроб,
Приближая к сумятице ливней, свободе и смерти.

Алексей Копревский



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Однолюб и проститутка

Фонари стояли в рост жирафа,
в провода укутывая шеи,
как в шарфы, – ионные траншеи,
а под ними, возле «Телеграфа»,
два из мрамора холодных монолита,
столь холодных, что эфир морозен –
стынет даже огненная осень,
и на метры промерзают плиты
до корней железных фонарей,
до молекул самых мелких трещин.
Чтобы мрачно не смотреть на вещи,
надо время чувствовать острее...

...Мы стоим недвижно под дождём,
не хотим и ничего не просим:
Нимфоманка и святой Амвросий –
Рубикона мы не перейдём.

Владимир Азыкин



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Какой бы жизнь прекрасной ни была,
Расстаться с нею всё-таки придётся.
Глядит на нас на всех из-за угла
Старуха-смерть. И каждого дожждётся.

Была бы она девкой, я бы сам
Рванулся к ней, свалив, нагую, в травы,
И, плюнув на обычаи и нравы,
Отправил бы счастливой к небесам!

Я снова не осилю треть пролёта,
Ты снова не услышишь трель звонка.
История без слов и переплёта
Чуть-чуть печальна, призрачно тонка.

Я вновь шагну во мрак полночных арок,
Смешаюсь с темнотой и поутру
Приму тепло постели как подарок
И снова до затмения умру.

А ты уткнёшься в книгу, не читая,
Меня увидишь где-то между строк.
Придёт мечта привычная, простая
О том, что я шагнул через порог.



Вячеслав Макаров



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

К холодному стеклу прижимаясь лбом,
самое страшное – вспоминать о несбывшемся и былом,
когда штекер взгляда передаёт по хребту
из розетки пространства трескучую пустоту.
В этой квартире узор на обоях безвкуснее, чем вода,
все надежды, желания примериваются к никогда,
горстка прочитанных книг, разбросанных на полу,
вызывает только желание их превратить в золу.
Кончилось детство, кончилось, как ни крути:
грусть, реже – смех, и ни выбора, ни пути.
Только садишься чаще, словно баркас, на мель,
мчишь от вопросов, как поезд – в глухой тоннель.
Я научился быть проще, скромней, внимательней к мелочам,
не говорить при случае, не отгребать по щам,
улыбаться собакам, не запивать коньяк,
вычеркивать из обсуждений помыслы «что-то не так».
Впрочем, наверное, так и должно быть: без
лишних движений, эмоций, пустых словес.
Мечта прощается с будущим, желаемое с сейчас –
видимо, это осень входит в пустеющий класс.

Наши дальние плаванья ограничивались пределами озера,
Наши бескрайние земли упирались в соседский забор,
Наши сказочные миры рушились час от часу –
В военкоматах был недобор.

Становясь выше, можно взглянуть чуть дальше –
Так горизонт наш охватывал новые дали.
Мы перестали бояться крови из пальца –
Учителя бастовали.

Перейдя в основную школу, мы упорно её прогуливали,
В отказе от драки было нечто сродни бесчестию.
Мы мало что знали, немного думали –
Сменилось тысячелетие.

Сменилось тысячелетие, вместе с ним поменялись планы:
Уже давно никто не мечтал стать смелым пожарным.
Мы делали всё, что запрещали нам мамы, –
США грозило Афганистану.

Разлюбив «Наполеон», мы стали любить одноклассниц,
Появлялись дома зачастую с лучами рассвета.
Допустив ошибку в понятиях, мы любовь называли счастьем –
В Ираке нашли ракеты.

А потом мы закончили школу, прошли сквозь различные тернии,
Но обещанных звёзд, к сожалению, не обнаружили.
Мы стремились назад, проводили свои параллели –
Восток закупал оружие.

И что мнилось хрустальной слезой, оказалось обычным потом,
Стало ясно, что одноклассницы всегда больше любили учителя.
Слышишь новые взрывы, и становится страшно при мысли о том,
Что распявшие Бога дождутся иного спасителя...

Такие дела, пацаны, вчерашние наши красивые
Как-то уж очень быстро забились в разряд «не очень»,
Мальчики, слывшие во дворе самыми сильными,
Всё более приобретают очертания пивных бочек.

Что ж, может быть, новый взгляд, может, переоценка,
Может, первые ноты печальной сонаты старения,
Котёнок перестал бояться меня – маленькая победа.
Я начал бояться жизни – огромное поражение.

Детство, милое детство, зачем ты меня не греешь?
Давай объедемся халвой и запьем сгущённой.
Украдём крыжовник, налив, поломаем велик,
Посмеёмся над очень красивой, но недоступной девчонкой.

Веселей, пацаны, махнём в казаков-разбойников,
Где ножи в карманах, в туманах месяцы,
Спрячемся от грядущего в тупиках, переулках, двориках,
И никто не сопьётся, никто никогда не повесится...



Жаль, не вернёмся назад, чай, не мотаем плёнку.
Не зажуём перегар сладкой ватой, а слёзы – «Лакомкой».
И я обнимусь с не очень красивой, зато доступной девчонкой...
Вспомнил о детстве, задело, налил, и ладненько...



Торус Ихобур



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Жёлтые лица старушек в ряд
Ассонируют с желтизной беседки,
В которой, понурясь, сидят
Онне дамы, и на деревьях осенние ветки
Цвету их вторят. Пожалуй, то – плагиат.

И я возбуждаюсь от слова «тахта»,
Даже когда переезд, и старую мебель
Выносят в подъезд, и когда
Собаки глядят исподлобья, как Геббельс,
На суетливую людность, выкусывая из хвоста

Излишки паразитирующих биомасс.
А стоит почувствовать осень,
Оживаю, будто вернувшийся с ралли КАМАЗ
Под ласковым роем механиков, грянувшись оземь,
Вернее, грянувшись в жёлтую грязь.

Дождь превращает в шипенье любой
Из звуков открытого мира,
Канализацию берёт на слабо,
Переполняет люки – отверстия дорожного сыра.
И всё это – вечер с тобой.

«Курить вредно»

Бабушка на кухне заплетает в косу
Запахи. Коса на улице – шлейфом
Из форточки. Топчет папиросу
Мальчик в кустах под балконом. Сдрейфил.

Бабушка открывает окно, кричит: «Алёша,
Обедать!» Мальчик трепещет, обрывает липу,
В спешке листья пихая в рот. А после, лёжа
На животе в зашторенной комнате, гасит всхлипы

Подушкой. Курить вредно.
Прозрачные капли лицо превращают в небо,
Что во время дождя так бледно.
Дыханием рисует лестницу. Лёгкие – кусочки хлеба.

Плавают в молоке. А с той стороны
Стекла плачет в паутине муха.
Пожалуй, громче. С болью ниже спины
Мальчик идёт к окну, прикладывает ухо.

Зебры

Смотришь под ноги, выйдя из белого цвета двери
Учреждения, набитого сгустками ПВХ.
Выбираешь между сигаретой и жвачкой, веришь,
Что однажды здесь будет неистово полыхать

Мести яркое пламя. Навстречу дедушка, чешет затылок,
Нырять в пропасть, кепку скомкав в карман...
Идёшь в переулок, дышишь, выбрасываешь сигаретный обмылок,
Надкушенный «Стиморол» с языком заводит роман –

Неверный любовник. Доходишь до перекрёстка.
Многорукое солнце столбами вместо карандашей
Чертит эскизы рая. В общем, пока наброски.
Зебры, к асфальту прильнув, хрустят позвонками шей.

Ветерок носится от воротничков к подмышкам.
Вдыхаешь кислородный коктейль с бензином и шаурмой.
Во двор повернув, замечаешь: подростки, как телевышки,
Нависли над лужей. Окно наверху расцветает звонким:
«Саша, домой!»

Заходишь в подъезд, лифту несдержанно улыбаясь.





Григорий Таврилов



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Как я стал деревом

Сегодня я приехал в деревню,
здесь я вырос.
Или я вырос не здесь?
Тут всё изменилось,
куда-то делась липовая аллея,
куда-то пропали дети, которыми мы были.
Всё изменилось.

Вот дядя Коля, от которого мы бегали,
которым нас пугала Ленка,
он превратился в смешного старика,
оказывается, у него синие глаза,
оказывается, деревня такая маленькая,
что мне тесно ходить,
поэтому я стою.

Здесь люди живут в таком узком мире,
что есть всего лишь четыре шага.
И все они – на месте.
Только полдень,
а мои ноги уже пьют воду земли.

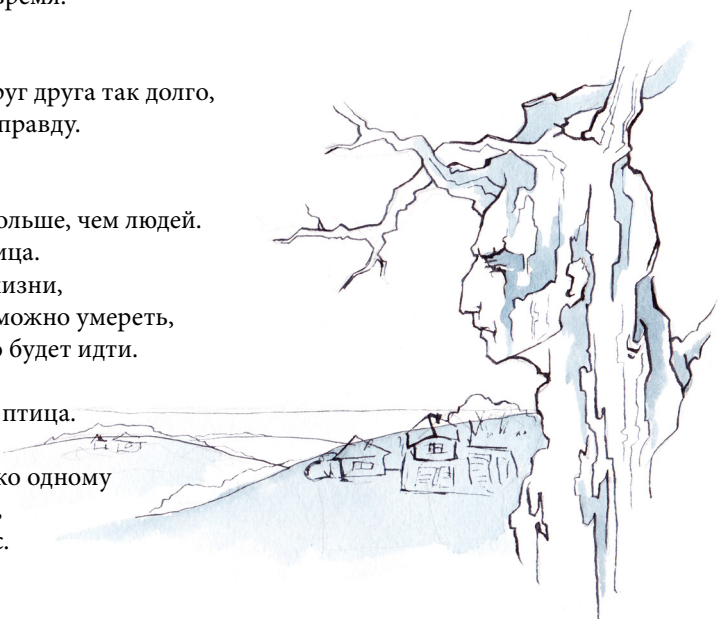
Здесь люди пьют, чтобы ничего не хотеть,
здесь очень долго идёт время.
До вечера ещё далеко.

Здесь все люди знают друг друга так долго,
что никогда не говорят правду.
И я молчу.

Здесь деревья помнят дольше, чем людей.
Птица. На меня села птица.
Здесь нельзя думать о жизни,
потому что из-за этого можно умереть,
потому что тогда нужно будет идти.
Но мне нельзя идти,
потому что на мне спит птица.

Здесь можно жить только одному
и не больше одного дня,
и только если уйти в лес.

Наверное,
я останусь здесь.



Татьяна Ортега
(под псевдонимом Анна Валежская)



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Отпевание

*...Вцепились мне в крылья у самого неба,
И я рухнул нелепо, как падший ангел.
Я не помню паденья, я помню только
Глухой удар о холодные камни...*

«Падший ангел» («Наутилус Помпилиус»)

Она помнила или знала, что сейчас первые числа октября. Пришла гроза, последняя в этом году, окружила город с четырёх сторон, разбросала огромные косматые тучи, которые постепенно заполнили небо, оставив сиять лишь небольшой, похожий на око клочок, сумевший не подчиниться стихии. Насуленный доскут темноты замер над крышами. Короткие вихри сталкивались, поднимая с земли пыль, мусор, обломанные ветки, закручивались в мелкие смерчи. Загрохотало, и, раздирая небо, как лист бумаги, сверкнула первая молния, обрушился дождь и стал неистово барабанить по крышам и окнам, водопадом срываться за шиворот многоэтажек. По переулкам заструились серебристые змейки ручьёв.

Дождевой кнут хлестал по всему живому. Редкие прохожие, спешившие укрыться от непогоды, недоуменно оглядывались, заметив эту девушку. По лицу её бил наотмашь холодный ветер, но она, казалось, существовала в какой-то другой реальности, не принимая, не осознавая этот мир. Здесь цвета исчезли, утонув то ли в дыме, то ли в тумане. И далёкие звуки глохли, как бормотание спящего сквозь подушку. Всё вокруг было чёрно-белым, словно кадры из старого кинофильма. Она видела, как с небес падал и ложился на разломанный асфальт пепел. Её светлый плащ насквозь промок и отяжелел. Босые ноги шлёпали по лужам, не ощущая холода. Протянув руки вперёд, будто раздвигая невидимые стены, она то шла, то бежала, то чуть не падала на колени. Траектория выбранного пути была непонятна даже ей самой, кружа по городу, натываясь на чугунные ограды, дома, она не могла найти себя. Ей вслед тревожно сигналили машины, чудом избегавшие аварии. Огненный обруч сжимал виски при каждом ударе сердца. Она мечтала, чтобы оно прекратило биться, но сердце не слушалось, ровными долями нарезая боль, и эта боль заполняла её всю, захлестывала, как и та мутная вода, что плескала с небес, затапливая город. Боль была не её – других. Тех, кто иногда попадался ей на пути, кто спрятался в домах со слепыми окнами, тех, кого она видела и кого не знала. Они думали, что она сошла с ума, но это было их сумасшествие, вцепившееся в неё колючими иглами.

*Мы все потеряли на этой безумной войне.
Кстати, где твои крылья, которые нравились мне?*

«Крылья» («Наутилус Помпилиус»)

Телефонный будильник ожил этими строками из песни любимой группы и возвестил о начале нового дня.

Странный сон ей приснился. За последний год осенняя гроза являлась вот уже в третий раз, и ей отчаянно захотелось разгадать, к чему всё это. Но вечно спешащие утром родители отмахнулись, не дослушав. А бабушка, выливая тесто на шипящую и постреливающую маслом сковороду, изрекла:

– Дождь – к хорошему, если вода чистая. А в твоём сне муть какая-то. Да и сама ты, Сашка, мутная стала.

– Ага, как бутылочное стекло. Всё, я позавтракала. Спасибо, кормилица, мне пора на работу. Пойду пыль с шедевров смахивать, коль сама бездарь.

– Вернёшься-то когда? Родители твои сегодня вечером фирменным восьмичасовым на Москву отъезжать в командировку изволят. Мы вдвоём остаёмся. Бабушка со смешным и плохо выговариваемым именем Ефимья Кондратьевна, выключив плиту и залив сырники сметаной, присела на краешек стула и горестно вздохнула:

– Опять целый год воевать с тобой один на один. Ты исхитрился сегодня к восьми на вокзал прискакать, хоть в последнюю минуту родителям ручкой помашешь. Александра, – уже зычным голосом прокричала она в нутро квартиры, – ты меня слышишь?

– Слышу, родная, слышу, – отозвалась Сашка из прихожей. – Если успею, помашу. Если нет, то тебе придется махать им обеими руками. За себя и за того парня, то бишь за меня. Не хмурься, не впервой, – Сашка прикоснулась губами к бабушкиной щеке, оставляя на ней лёгкий след от помадного блеска.

– У них ещё пол-Африки впереди. Думаешь, Ангола – последний вояж? Жизнь длинная, ещё напровожаюсь. А сегодня, боюсь, может не получиться. Начальство грозилось отправить внучку твою туда, куда Макар телят не гонял. Не знаешь, где это? – Сашка на какое-то время замерла возле зеркала, но не рассматривая себя, а как бы заглядывая внутрь. Потом, стряхнув оцепенение, рывком открыла дверь и вышвырнула себя наружу, словно парашютист.

Её встретило и приняло в свои объятия мягкое весеннее утро. Город преобразился, на клумбах зацвели нарциссы, в их компании яркими всполохами распускались тюльпаны. И небесная синь, до блеска натёртая облаками, отражала солнечные блики. Но сон, вцепившийся в неё, никак не отпускал, сковывал движения.



– Александра-а-а-а, очнись, детка! – начальница, Ираида Сергеевна Пастухова, хорошая знакомая отца, поведив рукой с ярко-красным маникюром перед глазами девушки, продолжала давать наставления:

– Поедешь с Геной в Гладишино. Дорогу он знает. Найдёшь администрацию. Возьмёте ключи у главы, его зовут Пётр Петрович Каплин. С ним есть договорённость. Но, если что, напомнишь обо мне и редактору «Городских новостей» Лютовичком, мы с ним вместе были у главы. Покажешь документы. Да, заедете к участковому, пусть он прокатится с вами. Он должен сам вскрыть опечатанную дверь, и ты в его присутствии перепишешь все картины, эскизы – словом, всё творческое наследие художника Ясиневского. Составишь акт. Постарайся правильно всё упаковать в ящики. Да, не надрывайся сама. Гена тебе поможет. Да, Гена? – Ираида тяжело, со значением посмотрела на водителя шикарного внедорожника, принадлежащего галерее. – Не забудь собрать все подписи под актом: главы, участкового, сама подпиши. По одному экземпляру всем. – Она протянула тоненькую пластиковую папочку со стандартно составленной деловой бумагой, в которую надлежало вписать количество изъятого у местного художника, скончавшегося полгода назад и не оставившего ни завещания, ни наследников. Всё переходило в собственность бывшей когда-то государственной галереи.

– Хорошая машина, дорога, скорость, девушка рядом. Не работа – сказка. Вот только...

Гена покосился на Сашку. Не нравилась ему эта непонятная, нахолившаяся, как серая цапля на болоте, девчонка. Вроде бы и не уродина, а какая-то нелепая. На руках – разноцветные нитки, тесёмки. Волосы, правда, хороши. Светлые, вьются. Голова на одуванчик похожа. Нет, кто-то из ребят сказал, что она на лемура смахивает. Такая же больше-ротая, большеглазая. Одевается непонятно, в балахоны, где ни фигуры, ни черта вообще не разглядеть, да джинсы. То ли дело её напарница Вика. Сказка, а не девушка. И болтушка, и хохотушка. Вот бы сейчас всю дорогу трещала. Можно было бы и на лоне природы немного отдохнуть. А что – дело молодое. Он усмехнулся, припомнив слегка переделанное «тело молодое». А с этой и молчать-то, словно груз в гору тащить... Генка ещё раз покосился на попутчицу и включил музыкальный центр. Из динамиков понёсся то разухабистый, то слёзно-плаксивый шансон.

Видит Бог, Сашка терпела это долго, целых семь километров, считала дорожные указатели. Но всему есть предел. Ну почему такая несправедливость?! Если машина – красавица, то шофёр обязательно гопник какой-то. Она бы послушала свою музыку, да за ночь у плеера села батарея, а зарядить с утра времени не хватило.

– Как несовершенен мир, – произнесла она громко, чтобы мысли,

облачённые в слова, были услышаны.

– Чё?

– Ничего. Музыку выключите, пожалуйста, голова болит.

– А чё, не нравится? С музыкой веселей. Вот хочешь я... – Гена полез за другим диском.

– Лучше радио включите, – пошла на компромисс Сашка.

– Лады. Радио так радио! – Генка, обидевшись, пощёлкал кнопками.

– Чё ты нудная такая?

– Я Вас не трогала и в Вашей аттестации не нуждаюсь. Нас связывают только рабочие отношения. Поэтому воздержитесь от оценок моей скромной персоны.

Сашка выразительно посмотрела на водителя.

– Чё?

– Ничего. На дорогу смотрите.

«Городская, блин, всю жизнь за мамой-папой прожила, умных слов нахваталась и гордится», – зло думал Генка, но в перепалку с девчонкой вступать не стал. Он выключил радио. Как-то разом успокоился и перестал обращать внимание на колючую пассажирку. И, пока она оформляла документацию в администрации района, беседовала с главой, он расспросил, где найти участкового, познакомился с ним. Свой в доску парень оказался. Чтобы дорогу удобнее было показывать, лейтенант сел вперёд, на место этого кактуса в джинсах, завёл мужскую беседу: кто где служил, как сыграла местная футбольная команда, и что футбол по телеку – вообще фуфло, и что жара стоит – по пивку бы... А в Сашке нарастало напряжение. Домик художника, в котором он прожил почти тридцать лет, был в сорока пяти километрах от центральной трассы. Лейтенант Кислицын показал, в каком именно месте необходимо свернуть на проселочную дорогу. Сначала это было плохо заасфальтированное шоссе, всё в ямах и ухабах.

– Сейчас дорога ещё так себе, ехать тряско, но можно. Дальше – хуже, – объяснял лейтенант Генке, при этом слегка кося в зеркало. – Потом будет просто гравийная дорога, а последние несколько километров – чернотроп.

Генка понимающе покачал головой. Сашка же просто отвернулась к окну, не желая вступать в разговор, и стала наблюдать буйные краски весенней природы. «Сюда бы на пленэр», – подумалось Сашке. Только другой голос внутри, отчётливо и безжалостно произнёс: «Но это для талантливых, а тебе комиссия ясно сказала: бездарь. Так что делай своих кукол, их народ скупает, они народу нравятся, за то тебя Ираида в галерее и держит. А про живопись забудь.



Вон, видишь, как берёзовая рощица помахала тебе вслед бледно-зелёными ладошками, – так и ты сделай ручкой голубой мечте выставить когда-нибудь где-нибудь свою мазню».

А дорога, петляя меж полей и сосновых посадок, вдруг упёрлась в настоящий лес. В машине потемнело. Уходящие высоко в небо кроны деревьев сомкнулись, и теперь сквозь шатёр проскакивали весёлые солнечные зайчики, бликуя на дороге, стёклах и зеркалах автомобиля. Сашка неожиданно попросила остановить машину. Генка понимающе хохотнул:

– Ну ладно, мальчики направо, девочки налево.

С левой стороны был густой ельник, с правой раскинулся роскошный дубняк. Многовековой дуб – одному человеку, даже такому длиннорукому, как Сашка, не обхватить – мощными корнями приподнял асфальт дороги. Прародитель. За ним и вокруг него целая рощица – от сыновей до правнуков. Правда, в ельнике и в дубняке встречались перебежчики. Но вокруг них существовала как бы зона отчуждения.

– Даже в природе чужаков не любят, – вздохнула Сашка.

Через лес ехали довольно долго, и Сашка ещё не раз удивлялась и соотношению красок, и природным чудачествам, переходящим иногда в явное хулиганство. Никому и никогда не удавалось изобразить на холсте нечто столь совершенное. Художественный гений мог скопировать, но не создать. «Есть техника, хорошая ремесленность, но не хватает мыслей, чувства не читаются. Ваши работы холодны. В них нет Вашего участия, нет художника», – вспомнил ей вердикт наставника. И тогда Сашка с холодной решимостью собрала вещи и села на поезд, увёзший её из ставшего таким родным Питера в город детства.

– Слушай, а ты где училась? Ты ведь тоже художница? Да? – нарушил ход Сашкиных мыслей жизнерадостный лейтенант.

Они с Генкой, переговорив на все актуальные мужские темы, плавно перешли «на баб». Сашка давно уже знала, что легче всего отвязаться от назойливого и нетактичного мужского внимания – это выдать односложную, исчерпывающую информацию так, чтобы на корню зарубить праздное любопытство и желание покопаться в чужой душе.

– Училась в Питере. Отчислили за профнепригодность. Теперь учусь в нашем универе на худграфе, делаю кукол, работаю в галерее. Терпеть не могу мужчин, говорящих больше меня. Если не трудно, то забудьте о моём присутствии, пока не доедем до места.

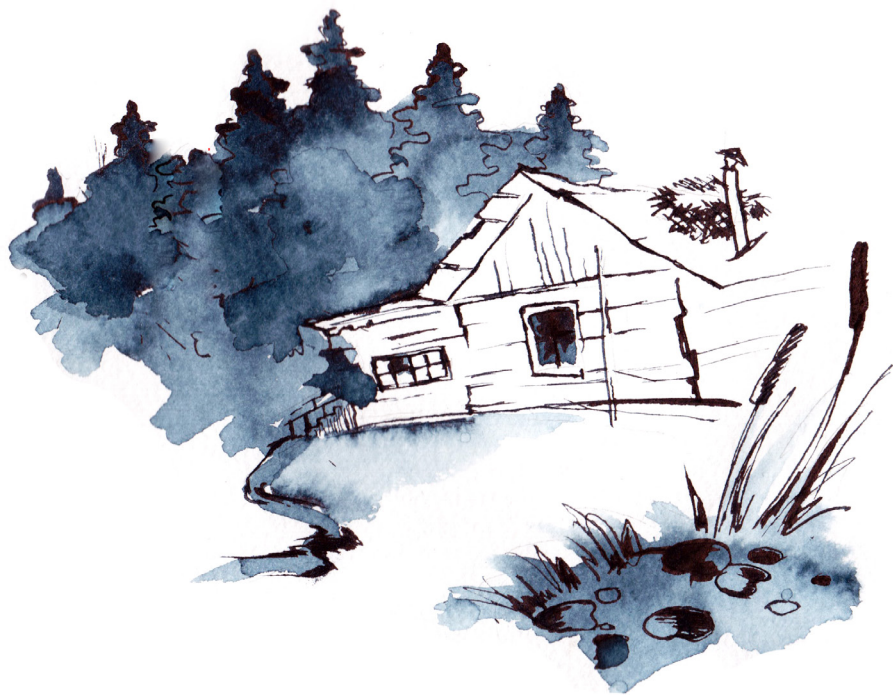
– А чего до него доезжать. Всё, сейчас повернём и приехали. Там домишко такой, увидишь, – стал объяснять лейтенант водителю, мимикой выражая Генке своё недоумение. – Я ведь не просто так спросил. Этот Ясиневский тоже в Питере жил. Он там картины писал, но нигде не работал, у него после блокады развилась астма. Но это может

быть сплетней, так бабы рассказывали. Короче, его за тунеядство выслали из Питера. Он как-то сюда добрался. Здесь его знакомая жила. У неё поселился. Приехал – ханыга ханыгой. Себя Митьком назвал. Так и пошло: Митёк да Митёк... К нему друзья приезжали. Короче, тоже все Митьки. Я с девчонкой встречался, она в художку ходит, так вон она рассказала, что в восьмидесятых годах в Питере все художники, которые не входили в Союз, или там авангардисты, – словно выплюнул слово лейтенант, – короче, потенциальные диссиденты, называли себя Митьками. А когда помер этот Ясиневский, я на похоронах был, специально посмотрел, может, он Дмитрий, ан нет – Никита Александрович. А картины у него, говорят, классные, только непонятные. Его питерские друзья, когда получалось, продавали их за границу. Говорят, хорошие бабки у него на счету в банке. Прикинь, на валютном счету даже после дефолта у него несколько тысяч оставалось, а жил как бомж. Да сейчас увидите!

После недолгой возни с досками, которыми были заколочены входная дверь и ставни маленького, присевшего на один бок дома, мужчины широким жестом пригласили бродившую по заброшенному дворику и осматривающую окрестности Сашку.

– Ну, что я вам говорю, – Кислицын, придерживая дверь из своей, пропустил девушку вперёд, – видите!

И она, увидев на пыльной стене облачённый в раму свой сегодняшний сон, замерла, раздвоилась. Александра отпустила помощников на волю, чтобы Сашка смогла прийти в себя.



А Генка и Кислицын, узнав, что на несколько часов могут быть свободны и ей от них ничего не нужно, пошли покурить на просторе.

...В этих картинах билась Жизнь. И Сашка, развязывая папки с эскизами, набросками, рисунками, пересчитывая и переписывая названия картин, распределяя их по темам, полностью в неё погрузилась...

– Вот смотри, Шурка, про нас в газете написали: «Живут на свете чудачки». Это значит, мы с тобой – чудачки. А что в нас с тобой чудного? Живём и живём, никому не мешаем. Это, помнишь, к нам девица такая с ногтями и губами красными приезжала. Колоритная девица, я тебе скажу, что-то вампирское, хищное в мордашке её прехорошенькой было. Всё ахала, фотографировала да выспрашивала, – старик поправил очки, покачал головой птице, прищёлкнувшей клювом ему в ответ, и начал читать: «Дорога, а точнее, бездорожье привело нас в маленькую избушку, с виду больше похожую на баньку. Она была ветхая, под стать хозяину, который вышел на мои призывы, этакий старичок-лесовичок, а следом за ним, страшно и громко щёлкая клювом, вышагивал аист. Хозяин пригласил нас в дом. Удивительно в наше время не встретить в домашнем обиходе обычных благ цивилизации. У Ясиневского Никиты Александровича, а именно так звали приютившего нас человека, не было ни привычных для городского жителя телевизора, ни холодильника. Разве что электрический чайник да лампочка под потолком, такая тусклая, словно её предназначением было не освещать комнату, а лишь разбрасывать по углам тени. На подоконнике стоял маленький транзистор, шипевший и что-то невнятно бормотавший. Зато все стены были увешаны картинами в затейливых рамах. Я, конечно, не специалист-искусствовед, но картины мне понравились. По-детски наивные и несовершенные, они как будто хотели рассказать что-то главное о художнике – человеке, который, тяжело и хрипло дыша, медленно передвигался по дому. «Как же Вы живёте здесь один, больной? Вам ведь даже, если что-нибудь случится, помочь будет некому. Куда местная власть смотрит? Знаете, давайте Ваши документы, я обращусь в органы социальной помощи, чтобы Вас в дом престарелых оформить», – предложила я свою помощь и увидела неподдельный испуг Никиты Александровича. «Что Вы, что Вы, не надо никому обращаться. Я едва отбился от них, от этих всех властей. Никуда я из этой избушки не поеду, здесь помирать буду. У меня всё необходимое есть, а больше мне ничего не надо»...

...Старик читал, всё время покашливая, потом отложил газету, осмотрел нехитрое убранство своего дома и заворчал:

– А на кой мне холодильник, если в него класть нечего. Лошадь,

козу продал после смерти Сони, кто за ними ходить будет? Три курицы с петухом есть, да и то порой в тягость. Петька вон за четверть движок перебрал, починил, теперь хоть свет есть, а то считай больше месяца мы с тобой на свечах да на керосине сидели. Вода во дворе, прямо у крыльца, это ещё при Соне. Насосом чуть покачаешь и пользуешься. А печку в прошлом году попросил мужиков разобрать, куда мне протопить ту махину-то. Сложили группку, а мне и достаточно, тепло даёт да и супец какой-никакой...

Никита Александрович засипел, закашлялся и, отдышавшись, снова забубнил:

– Дались мы им с тобой, два калеки, два инвалида. Вон и Катя с Максимом, с последним из оставшихся в живых питерских друзей, приезжали, ужасались. Она всё с собой звала. Вся такая...

Старик замолчал, потом шмыгнул носом, протёр увлажнившиеся глаза и вдруг резко и зло сказал кому-то в угол:

– Она меня по молодости-то стыдилась. Она, как хорошая борзая с родословной, в их квартире весь цвет Серебряного века на чаепития собирался. Они семью сберечь смогли, не растеряли, преумножили. У них этикет из каждого угла на меня пальцем показывал. А я кто? Мазила безработный, без роду и племени, ни сесть, ни встать правильно не умею. В дом к ним боссы партийные вхожи были, к элите приобщиться желали. Меня по головке так снисходительно власть погладить пыталась, а я вдруг – гордый. Так ведь меня сама советская власть в щенки подзаборные определила – и пусть, и быть посему. Вот только стоило мне лапку на тот забор поднять, как миску отобрали, а уж после того, как тьякнул на кого-то, так и вовсе пнули да забыли.

И снова сухой кашель стал рваться из старческой груди, раздвигая и сдвигая рёбра, как меха гармоники. Пришлось пустить в ход ингалятор. А потом ещё долго ссутулившаяся фигурка сидела, не шевелясь, боясь спугнуть покой.

Наконец, он поднялся, выключил давно закипевший и плюющий во все стороны кипятком чайник. Но чай пить расхотелось. Он достал с полки заветную четвертинку водки. Шурка недовольно застучал клювом.

– Да ладно тебе, сегодня можно, я же не каждый день-то. Сегодня у Сонюшки День рождения. Пойдем к ней, могилку подправим да помянем. Вот соберу сейчас закуску...

И старик сложил в пакет приготовленные загодя яйца, сало, хлеб. Позвал из дому Шурку, и, сторбившись, не спеша, побрёл в лес.

Медленно кружились и падали листья с тополей. Лишь немногие слышат, как они шуршат, а ведь этот шелест и есть песня осени. Ти-



хая, ненавязчивая, лёгкая, как полёт паутинки, песня с припевом, который разносит ветром и подхватывают через какое-то время берёзы, яблоньки, клёны, дубы. Сосны, чтобы поддержать хор, начинают раскачиваться в такт, тоскливо скрипеть.

Человек, наверно, ещё не очень старый, но почему-то сгорбленный, с свалившимися глазами, заострившимся носом, небольшой светлой бородкой и необычно тонкими запястьями, сидел на пригорке за лесом и слушал эту песню. Рядом с ним важно расхаживал аист. Он совсем не боялся человека, напротив, был его единственный друг. Аист, по птичьим меркам, был стар, и всё время пытался подобрать одно крыло, но оно непослушно обвисало, тогда аист грустно смотрел на человека и начинал как будто жаловаться, тихо пощёлкивая, словно вздыхая.

– Ну перестань-перестань, – пожилой мужчина протянул руку и погладил аиста по спине. – Могилку я подправил, сейчас пойдём.

Он решительно встал, но вдруг схватился за грудь и осел. Птица взволнованно запрыгала рядом, затрещала.

– Всё нормально, тише. Иди сюда.

Два инвалида молча сидели возле могильного холмика и смотрели куда-то сквозь время и пространство...

Теперь всякий раз, как приступ удушья сгибал пополам, память тут же настигала его, разворачивая картины далёкого или близкого прошлого. Это были его картины. Он их писал. Писал, как умел, как чувствовал. Это была его техника, его художественное видение, которое власть заклеимила и отвергла. Поэтому никому на родине никогда не был интересен художник Ясиневский. Он и как человеческая единица никогда не был нужен стране, она терпела его, вечного инвалида.

...Никита с трудом выбрасывал из ещё неглубокой ямы землю. Он не столько помогал деревенским мужикам копать могилу, сколько мешался у них под ногами. Наконец, они, не выдержав, отобрали у него лопату и выпихнули наверх. Присев на траву, он сжал голову ладонями. По его вискам катился пот, локти дрожали, дыхание было порывистым, хрипящим. Рядом лежал деревянный ящик, необтёсанный, грубо сколоченный. Его ещё нужно было обшить всем тем смертным, из Сониного узелка, так, как она ему не раз наказывала. Никита провёл по нему ладонью и тихо позвал:

– Соня...

Хотелось плакать, но слёз не было. Не потому, что ему не жаль было Соню. Нет, он кусал до крови ладонь, чтобы не закричать, когда она пересохшими, потрескавшимися губами просила пить каждую минуту, а он понимал, что вода не поможет. И сейчас он мог бы по-звериному выть, уткнув голову в жёсткую обгоревшую траву, но плакать разучил-

ся. Слёзы кончились давно.

А вот Соня последнее время плакала. Наверно, перед смертью вспоминала всё, что пришлось пережить. Ведь тогда она запирала в себе боль, перемалывала и шла дальше, ещё и Никиту за собой тащила. А потом боль вернулась, превратив Соню в совсем другого человека. Она лежала на кровати, тонкое одеяло прикрывало остро выпирающие кости. На её пожелтевшем лице, казалось, были одни глаза, огромные, испуганные. Губы что-то шептали. Он не мог разобрать слова. Боже, как не походила она последний месяц на ту Соню, которую он впервые увидел.

...Ему было пять. Он читал наизусть на коленях у отца «Руслана и Людмилу». Отец слушал внимательно, приспустив очки в тонкой золочёной оправе на кончик носа, забыв про груды бумаг на столе. Когда у Никиты кончился в лёгких воздух, а слова в голове ещё оставались, отец засмеялся и прижал его к себе:

– Друг мой, у тебя феноменальная память. Когда-нибудь ты станешь самым выдающимся, самым известным, ну, кем ты будешь, подсказывай! – он щекотал и теребил мальчика, покачивая его коленях.

– Самым известным профессором в нашей семье, – захлёбываясь от смеха, вещал маленький Ник.

Они были так заняты друг другом, что не слышали звонка в парадной. О госте узнали, когда в кабинет заглянула мама и попросила выйти и поздороваться.

Соня. В свете яркого дня её тугая толстая коса, обвитая вокруг головы, светилась золотистым нимбом. В голубых глазах весело плясали солнечные блики. Чёрные туфли-лодочки с блестящей пряжкой, белые носки, синее в белый горошек платье – скромная, милая девушка. Она немного смущалась от пристального оценивающего взгляда двух мужчин: взрослого и ребёнка.

– Соня – племянница Марьи Антоновны, приехала поступать в техникум, будет жить у нас и в свободное время присматривать за Никитой, – представила её мама и потом пригласила всех в гостиную пить чай...

Земля глухо стучала, падая на деревянную крышку. Горстка её односельчан потянулась вереницей в дом, за стол, помянуть. Поправив самодельный крест, он прочитал «Отче наш» и медленно пошёл в глубь леса. Сделав несколько шагов, оглянулся. Хорошее всё-таки выбрал место: пригорок заливало солнечным светом, рядом росли молодые берёзки, всё дышало спокойствием, миром – тем, чего ей не хватило в жизни.



– А меня ведь даже хоронить некому будет. Помру и буду лежать один, когда ещё найдут, – мысль, высказанная вслух, больно обожгла лёгкие, и он зашёлся в кашле.

...Однажды летним воскресным утром на даче, что стояла на берегу Финского залива, они с Соней строили на зелёном, ворсистом ковре железную дорогу. Ползали друг за другом на коленках, а мама наигрывала на гитаре что-то весёлое. Вдруг из комнаты появился бледный отец:

– Нападение Германии без объявления войны... Утром бомбили Киев, Минск, Брест. Мамины пальцы дрогнули, она вскрикнула, и гитарный аккорд оборвался.

С тех пор в его жизни всё стало постепенно исчезать. Сначала смех и улыбки родителей, потом прогулки по набережной и Невскому проспекту с Соней, затем пропали какие-то продукты. На смену пришли новые непонятные слова, которые родные всё чаще произносили шёпотом, скрывая от него: отступление, эвакуация, фашисты, аэростаты, бомбёжка, блокада, голод. Впрочем, смысл последних слов он почувствовал на себе...

...То лето выдалось знойным. Сохли и горели травы, пропадали озимые, пересыхали болота. Птицы, не в силах прокормить птенцов, выбрасывали их из гнёзд. Казалось, сама природа избавляется от лишнего. Только в лесу тени по-прежнему были длинными, мохнатыми, спасающими от раскалённого, будто сковорода, солнца.

После смерти Сони прошло уже несколько лет, согнувших и состаривших его. К лесу он привык, и лес стал ему другом и помощником, не оставлял без еды, лекарств, потихоньку лечил душу. Наведав перед Пасхой Сонину могилку, Никита не спешил в дом. К пустоте всё равно не опоздаешь.

Внезапно он остановился. На краю дороги, под высокой раkitой, где на верхушке аисты свили гнездо, запутавшись в колючих ветках тёрна, что-то трепыхалось. Никита подошёл и ужаснулся. То, что вначале показалось ему белой тряпицей, оказалось птенцом. Он зацепился крылом за толстую ветку, шеей застрял между колючек. Аистёнок едва дышал, с трудом втягивал каждый глоток воздуха, но и эта малая порция кислорода вырывалась обратно, судорогой проходя по крошечному телу.

– Подожди, подожди! – трясущимися пальцами Никита освободил птенца.

Когда маленькое, чуть живое существо оказалось в его руках, он, прибавив шаг, понёс его к дому, каждую секунду прислушиваясь, дышит ли?

В сених Никита отыскал ящик из-под макарон, на дно уложил тряпки, аккуратно поместил туда аистёнка. Засуетился в поисках зерна, воды, потом вспомнил, что аисты питаются лягушками, побежал на болото. По колено в тине, задыхаясь от удушливого гнилостного духа, Никита ловил головастиков, лягушат, бил оводов. Он понимал, что аист теперь – смысл жизни, потерять его он не мог. Два вдоха из ингалятора. Нужно отдышаться, или приступ скрутит так, что будет не до птицы.

...Маленький Никита Ясинеvский всё чаще оставался один в доме, который без привычных вещей стал чужим. Вместо великолепных картин, доставшихся его отцу по наследству от деда – известного художника, на стенах оставались лишь невыгоревшие пятна обоев. Никиту мама записала в школу, хотя семь лет ему ещё не исполнилось. Но война вмешалась в образование мальчика. Он уже несколько недель сидел дома, потому что осень выдалась необычайно холодной, он заболел, его изводил постоянный кашель. Но Никита нашёл себе занятие: достал старый дедов этюдник, краски, листы картона и рисовал картины Счастья. Ими он закрывал «глупые и скучные» места на стенах. А потом приставал к взрослым с вопросом:

– Правда, так стало лучше?

Они гладили его по голове и грустно улыбались. Картины детского счастья никак не могли прогнать из комнат затаившегося где-то в углу Страха. Страх Никита тоже рисовал, но выходил он какой-то глупый, не страшный. А вот тот, что таился в тёмном углу за буфетом, наводил ужас даже на взрослых.

Вечером мама разжигала примус, готовила гороховый супчик и шила мешки для песка, а днем уходила в музей «спасать искусство». Он такой её и запомнил: маленькая, хрупкая, на лбу серебристый лёгкий шарфик, не дававший падать на глаза тёмно-русые кудряшки, склонилась у стола с грубой тканью, как прежде над книгой.

Марья Антоновна стирала в больнице, от этого её большие ласковые руки стали навсегда красными и грубыми от мозолей. Она с Соней теперь жила в больничной каморке, что когда-то служила чуланом при прачечной. К Ясинеvским она приходила теперь только по делу. Вдвоём с профессоршей они, собрав по дому наиболее ценные вещи, шли на рынок, чтобы обменять их на продукты, или ехали в пригород, где тоже шла торговля. Марья Антоновна не давала ушлым менялам обмануть «бедную Елену Андреевну».

Папа тоже ходил в свой институт, но стал рассеянным, будто потерялся в этом изменившемся мире. Мальчик вполне его понимал.



На улицах творился хаос. Город сильно преобразился. Все памятники были спрятаны под мешками с песком, только сфинксы пока остались незащищенными, но они с таким безразличием и уверенностью смотрели вдаль, что беспокойства за их судьбу не возникало. В светлые и душные ночи лета 1941 года плавающие в небе аэростаты походили на громадных летающих рыб. Никита их не боялся: Соня ему рассказала об их важной миссии. Не страшны были и крестящие небо то длинные, то короткие лучи. Самым ужасным стал ближе к зиме звук тревоги. От него Никита цепенел, с трудом перебирал ногами...

В тот вечер мама, закутав Никитку, попросила Соню спуститься с ним в бомбоубежище. По дороге туда они встретили папу, спешащего домой. Приказав им торопиться, он ринулся, перепрыгивая ступени, за мамой. Они с Соней успели укрыться до бомбежки, но папы с мамой всё не было...

– Он их забрал. Всё разрушил и утащил их, чтобы я теперь навсегда боялся, – внезапно проснувшись, произнёс Никита.

– Кто, малыш? – Соня теснее прижала к себе мальчика.

– Страх, живший за буфетом. Он всё разрушил! – всхлипнул Никита.

– Тише, тише, это только сон, всё будет хорошо...

Но задремать Соне уже не удалось. Они просидели в убежище всю ночь, а рано утром, вернувшись, увидели, что угол дома, где была их квартира, превратился в дымящиеся руины...

– Ник, что за гадость ты нарисовал, – Марья Антоновна заглянула через плечо мальчика, в недоумении рассматривая рисунок.

– Это как Страх родил сироту...



Аист, несмотря на слабость и малолетство, больно клевал Никиту, когда он перевязывал ему лапу и осматривал крыло. Птенец быстро освоился в новом «гнезде» и что-то выстукивал в полу, в бревенчатых стенах. Иногда он «нааживал» большую ногу, и Никите приходилось доставать его из дальнего угла и укладывать в ящик, откуда птичий разведчик продолжал следить за действиями своего большого друга, смешно вертя головой.

Птенец рос, и в избе простора ему не хватало. Никита невысоко пристроил колесо от телеги между ветхим сараюшкой и избой, но и туда не мог взлетать его питомец. Тогда человек сколотил и приставил лестницу к колесу. Шурка, так был назван аистёнок, до этого внимательно наблюдавший за происходящим, принял дело в свои руки, а точнее, в клюв. Он обошёл пол-леса, разыскивая нужные веточки, палочки, каждую нёс отдельно, гордо выпятив грудь. Так он строил свой дом. Сойка летала над ним, что-то спрашивая, как-то советуя, он игнорировал её, лишь иногда недовольно щёлкал клювом в ответ.

Во дворе Никита сделал маленькое болотце, наносил мутной илистой воды, сам кидал туда лягушек. Аист довольно пузырил воду, бултыхал в ней длинными нескладными ногами.

Когда Ясиневский уходил в село, чтобы набрать продуктов, Шурка шёл с ним, пытаясь шагать в ногу, изредка забегал вперёд, вглядываясь в лицо друга: «Всё нормально? Всё хорошо?» Мальчишки, похожие, как братья, все конопатые, с выгоревшими на солнце волосами и облупившимися носами, забросив лапту, рогатки, выискивание кладов, бежали за ними гурьбой, повторяя на все голоса:

- Никита Алексаныч, а он кашу ест?
 - А что с крылом?
 - А где Вы его взяли?
- Но чаще всего:
- Можно потрогать?

Их пацанячью гвардию не останавливало даже то, что все в деревне немного сторонились чужака, считая его бирюком и чудаком. В сознании ребят эта слава, напротив, разжигала любопытство, вселяла бескрайний интерес. Возвращались Никита с Шуркой в лес уставшие от общения, тревог, суеты, но с полным рюкзаком припасов и ведёрком лягушек, наловленных ребяташками.

– Ой, подожди, Шурка, – он завозился в карманах, судорожно разыскивая ингалятор, а сухой кашель уже рвал лёгкие.

...Конец лета, осень и часть зимы они с Соней прожили в по-



луподвальной комнатке первой городской больницы (теперь её называли госпиталем), где работала и жила в дежурке за ширмой Марья Антоновна. Комната была холодная, из множества щелей поддувало сквозняком, они попытались законопатить их тряпками, но тряпок не хватило. Маленькое двухрамное оконце, где внутри было всё в пыли и паутине, с первыми морозами навсегда затянулось серебристым инеем. Потолок был оклеен пожелтевшими газетами, Никита пытался их читать, лёжа на клеёнчатой кушетке, но листы расположены были вкривь и вкось.

Сони днём не бывало, она работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Гуляя по большому грязному двору, мальчик познакомился с кочегаром – дедом Лёней. Стал помогать ему топить печь: разыскивал бумагу, носил щепки. Дед Лёня был сухоньким быстрым старичком, постоянно сыпавшим прибаутками и курившим козью ножку. Он научил мальчика резать ложки из липовых чурочек и точить ножи. Вместе они ловили редких мелких рыбёшек в канале, которых Соня потом варила в котелке. Но чаще Никита ел кашу, которую приносила вечером Соня в маленькой закопчённой кастрюльке, обмотанной платками, да сильно посоленный чёрствый хлеб. Поужинав, они забивались в угол, подтыкая со всех сторон рваное одеяло. Соня рассказывала ему про русалок, леших, домовых. Домовой почему-то неизменно представлялся Никите жутко похожим на их кастрюлю в платках. Когда Соня очень уставала, мальчик, если не свистело в горле и не бил кашель, сам рассказывал ей сказки, которые когда-то ему читали мама или отец, или рассказывала по вечерам на даче Марья Антоновна. Любимый «Робинзон Крузо» через какое-то время оброс подробностями, о которых не догадывался сам Дефо. Иногда сюжет переносился с далёкого необитаемого острова на Заячий. Вскоре Соня подхватила этот рассказ, и Робинзон превратился в доброго, отважного героя, спасавшего от голода и бомбёжек несчастных людей каждую пятницу...

Поздняя осень давно уже ассоциировалась у Никиты с участвовавшими приступами, но в счастливых хлопотах, связанных с крылатым товарищем, он забыл, что должен беречься. Ему была противопоказана холодная вода, он на беду промочил ноги в охоте за лягушками и перестал пить настой трав, заготовленных ещё летом. Всё это припомнилось, когда, сгибаясь от удушающего кашля, он был не в силах глотнуть воздуха. Шурка очень испугался, прыгал вокруг, пытался взлететь, громко стучал клювом, трещал им, обнимал крыльями колени. Но Никита видел лишь пульсирующую темноту перед глазами и чувствовал, как горят лёгкие. Они почему-то всегда болели со спины, там, где сходятся лопатки. Иногда Никите казалось, что на них два длинных шрама, которые кровоточат и болят.

Уже вторую неделю Ясинеvский почти не поднимался с постели. Рядом стояла вода и хлеб, тут же лежал, распластав большое крыло, аистёнок. Подросший птенец позволял себе спать, лишь когда его друга переставал мучить кашель, а дыхание из хрипа переходило в тихий свист. Оба сильно исхудали, и глаза у них наполнились печалью и влагой... Болезнь не отступала даже после инъекций, которые делала приходящая к ним фельдшерница. Она ворчала, но подкармливала их с Шуркой. А они выживали...

...Спасение действительно пришло в пятницу. Сквозь обстрелы в Ленинград чудом прорвалось несколько грузовиков с Большой земли, они привезли розовые ледяные горки – Соня объяснила, что это мясо – для бойцов и тех, кто остаётся. Но они не оставались, их отправили на этих же полуторках по замёрзшей Ладоге на Большую землю. А потом они ещё очень долго ехали в товарных вагонах через всю Россию. Сначала прошёл слух, что везут их в Среднюю Азию, про которую совсем обессилевшему от голода Никитке Соня рассказывала удивительные вещи. А мальчику в холодной, продуваемой теплушке снился непрерывный сон про Сфинкса, говорившего голосом отца: «Ты возвращайся сюда, мой мальчик, я тебя ждать буду». Ещё снился зелёный город, в котором на деревьях поспевали не только фрукты, но и хлебные булки. «Ташкент – город хлебный», – так называла Соня то место, где они должны будут жить. Но в Павлодаре их вагоны были прицеплены к составу, который повёз их через весь Алтай куда-то в верховья Енисея на границу с Монголией, конечным пунктом была станция Абакан по Усинскому тракту.

...Соне не пришлось долго бегать и просить, чтобы их вывезли, она всего лишь пришла с Никитой к какой-то важной тётке, что составляла списки, и назвала фамилию Ясинеvский. Никитиногo отца хорошо знали и уважали в институте, где он преподавал и занимался наукой. На площади толпились странные молчаливые люди. Они не суетились, а, терпеливо ожидая своей очереди, поднимались в кузов грузовика, усаживались и замирали. Кто-то прижимал к себе ребёнка. Они расставались с городом, не зная, придётся ли встретиться вновь... Никита стоял, оглядываясь по сторонам, закусив до крови нижнюю губу, он прощался с Ленинградом навсегда. Вспомнил Аничков мост, гордых сфинксов, Летний сад, где гулял с мамой совсем маленьким, дом и его развалины. Касался в памяти, будто перышком, любимых мест. Он выросл. А ещё он запоминал, чтобы написать потом картину «Блокадные сны», которая была вывезена и продана в Германии, но эскизы остались...



...Их новым местом жительства стало стойбище сойотов или тувинцев, приютившее в старом бараке часть эвакуированных. Соня устроилась работать в артель по пошиву овчинных тулупов для бойцов Советской армии. Никита целые дни был в бараке один. Скучал по родителям, беззвучно плакал. Часто, очень часто ему снилось Счастье: солнечный день, Соня в синеньком платье и белых носочках, и как он читает стихи папе, а мама зовёт всех к столу пить чай. А потом фортепьяно срывалось на визг тревоги, зовущей в бомбоубежище... Он не мог ходить в школу: задыхался. Чтобы как-то занять себя днем, стал читать. Книг на весь барак было с десятков, но и этому Никита был рад. Потом к нему сначала изредка, а потом почти каждый день стала ходить из школы учительница.

Валентина Петровна, отсидевшая в лагерях за мужа – врага народа, за себя – жену врага народа, была сослана сюда на поселение. Друзья после войны помогли им перебраться сначала в Кызыл, а потом в Барнаул. В той, прошлой жизни она читала лекции по литературе в МГУ, а теперь учила правильно читать и понимать прочитанное маленького мальчика с выпирающими из под тонкой ткани лопатками, похожими на два атавистических отростка, бывших когда-то крыльями. А ещё он чудно рисовал. И Валентина Петровна покупала или выменивала ему на блошином рынке краски, карандаши, бумагу, так что порой у неё вовсе не оставалось денег. Мальчик стал смыслом её жизни. Она лечила и учила его, как не умереть от «Болезни Одиночества», так назвал он несколько очень жутких по смыслу рисунков, которые потом стали картиной.

– Почему? – спросила она.

– Потому что было много картин Счастья, – ответил он.

– Но ты ведь не одинок. У тебя есть Соня, и для меня ты стал родным, а, значит, у тебя ещё есть я.

– Когда я задыхаюсь, то совсем-совсем один, как Сфинкс.

Соня начала всё чаще болеть, что-то жгло её изнутри. Тувинка Асия, приносившая им кислое козье молоко, предложила как-то поехать в её родное становище, затерявшееся в предгорьях.

– Валя, там у нас есть старый охотник Оратай, он горные травы знает, всех лечит. Он ещё до революции учился в Монголии, жил на Тибете у буддийских монахов. Потом долго в тюрьме сидел. Русский язык знает. Поехали. Соню, мальчика тоже лечить будет. Денег мало берёт. Мы на станцию завтра пойдём, всё, что ему надо, купим.

И Валентина Петровна сдалась.

Горы очаровали Никиту. Оратай стал не только поить разными отварами мальчика, но и брал его с собой, поднимаясь почти к вершинам

собирать мумиё – Слёзы гор, а также очень мелкую и кислую горную смородину, нарезать по берегам горной речушки охапки облепихи, а в самой речке ловить форель. Отправив как-то мальчика за водой вверх к ручью, Оратай через некоторое время вдруг прибежал сам, на ходу что-то громко выкрикивая и размахивая руками.

– Видишь следы? За тобой сам барс ходил, а я его пугал. Вот он тут прыгнул, – и Оратай показал след большой когтистой кошачьей лапы на кромке снега.

То ли отвары помогли, то ли походы по горам, где и здоровые-то лёгкие рвались от напряжения, а Никитке – хоть ложись и помирай, но к концу лета задышал он полной грудью. И Соня, почувствовав себя вполне выздоровевшей, как-то вдруг засобирилась домой. Да не в Кызыл, а в родное село на юг России, где отец её, вернувшийся с фронта инвалидом, жил в домике лесника, приняв на себя его нехитрые обязанности.

На семейном совете решали будущее Никиты.

– Знаешь, Сонюшка, ты поезжай, устройся, а Никитушку пока со мной оставь. Опекунство над ним я оформлю. Пусть он школу здесь закончит. Мы к тебе на каникулы приедем. Посмотрим, как климат на него действовать будет. Не дай Бог, астма вернётся, – Валентина Петровна предложила, а Соня согласилась.

– На твоих рисунках теперь только горы, Оратай, Соня, я и очень много цвета. Ты вернулся к рисункам Счастья? – улыбнулась подростку Валентина Петровна.

– Нет, это будет когда-нибудь картина, и я назову её «Жизнь», – серьезно ответил Никита.

Как хорошо было после долгой зимы сидеть вдвоём на завалинке, пригреваемой солнцем. Весенние лучи с каждым днём становились всё жарче. Сначала закапало с крыш, потом растаяли ледяные корки возле деревьев, а теперь солнечные зайчики поторапливали зелёные травинки, с трудом пробивающиеся из-под земли. Никите Александровичу дышать стало полегче. Он был всё ещё слаб, ведь зиму они с аистом едва пережили. Но тепло и свежесть, приносимые дыханием весны, действовали целительно. Шурке исполнился год, он перестал хромать, правда, крыло по-прежнему бесполезно висело, но птица была весела и счастлива. Человек догадывался, что не только весна так радует его товарища. Самому же Никите, хоть реже, но всё так же порой очень мучительно переставало хватать кислорода. И снова лёгкие рвались и бились между лопатками.

...Дом был пуст. На полу валялся проржавевший чайник с про-



волокой вместо ручки, железная кровать перевернута, гниющие перья из подушки валялись повсюду. Соня растерянно оглянулась, закрыла лицо ладонями, плечи её вздрагивали.

– Ну кто же знал, что ты сюда приедешь. Уж сорок дней, как похоронили. Когда помер он, сразу-то не хватились. Это ребятишки, когда на пруд бегали, к нему всё время за червями заглядывали. У него за сарайкой знатные черви водились. Стали кричать, звать: «Петро Григорьич, Петро Григорьич!» Не отзывается. Открыли хату, а он того, значит... Но ты не сумлевайся. Бабы его по-хорошему обрядили, и отголосили, и помянули, всё честь-честью, – председатель местного сельсовета ещё долго бубнил Соне: всё, что смогли, сделали.

– Можно, я здесь останусь жить, в этом доме? – Соня выжидающе смотрела на суетливого представителя советской власти.

– А чего здесь-то? – удивился он. – Молодая, красивая, давай на центральную усадьбу. Там хоть изредка проездом шофёры неженатые появляются. Замуж тебя отдадим. А здесь чего? – он опять пожал плечами. – Одной-то не страшно будет?

– А я ружьё заведу, чтобы не страшно.

– Ну смотри, девка, тебе жить.

С тем начальство откланявшись и уехало.

А Соня, похлопотав в районном лесничестве, выпросила себе должность лесника, а в сезон подрядилась ещё и на торфяные разработки. По-всякому жилось ей. И ружьё завелось, и козы. Это ей Оратай наставление когда-то дал, что лучше козьего молока для её больного желудка ничего нет.

Никитка же поступил в Ленинграде в институт живописи имени Репина. Валентине Петровне разрешили поселиться в Вязьме. Долгие годы каждый жил сам по себе. Пока не получила Соня письмо из Германии. В конце семидесятых Валентину Петровну настоятельно попросили покинуть Советский Союз, потому что в самиздате стали появляться труды её мужа, в которых правительство вновь узрело опасную для себя идею. Но так как мужа давно уже не было в живых, то ответственность за эти безобразия должна была нести его жена. В Гамбурге нашлась дальняя родственница по материнской линии – фрау Штерн, которая во всём помогала Валентине Петровне. Её Никита, у которого не складывалась семейная жизнь и не заладилось с карьерой художника (не прогибался он в угоду власти предрежущим), отказался от эмиграции.

– Сесть сорокалетнему мужику на шею двум слабым женщинам в чужой стране, больному, да ещё и неудачнику... Нет, родная, поезжай одна, а я буду скучать. Видишь, в моих картинах поселилась Тоска.

И Соня, узнав из письма, что Никита, её маленький талантливый

Никитка, спивается, решила, поехала. Почти неделю расспрашивала всех, кто мог хоть что-то знать о художнике Ясиневском, по крохам собирала информацию, что живёт он в Ленинграде где-то на чердаках с такими же непризнанными гениями и называют они себя Митьками, продают иностранцам картины, пьют беспробудно. А ещё у него снова появился астматический синдром. Соня тот чердак разыскала.

Нетрезвого, но счастливого от неожиданной встречи, погрузила она Никиту в поезд и привезла со всем его нехитрым скарбом в дом на краю леса. Самое ценное всю дорогу держала в руках – толстую, чуть потёртую на уголках книгу, где над названием значилось: «А.А. Ясинеvский». А на первой титульной странице, кроме фамилии автора, можно было узнать, что он профессор минералогии ленинградского Горного института.

– Это Никитка отца нашёл, чтобы найти себя, – догадалась Соня.

Всё чаще к Шурке в гнездо стала прилетать подруга. Весна и любовь неразделимы. Никита радовался за своего подопечного. Скоро подруга, став официальной женой, уселась на яйца. Она требовала не так много: либо кормить её, либо сидеть в гнезде, пока она гуляет. Но выращенный человеком аист этого не понимал, он вообще думал, что лягушек должен приносить им бескрылый хозяин. Никита так и делал, но аистиха боялась людей, всякий раз срывалась с невысокого гнезда, когда старик из избы выходил во двор. Ясинеvский клал лягушек в две мисочки, но его эгоистичный питомец таскал из обеих, не оставляя ничего жене. И, промучившись друг с другом всё лето, потомства они так и не вывели. Когда пришла осень, небо затянули тучи, начались нудные дожди, жена аиста вспомнила о тёплом крае, звала туда Шурку. Долго они переругивались на крыше сарая, но однажды утром их маленькое болотце покрылось плёнкой льда, на голых ветвях повис иней, аистиха призывно потрещала и взлетела. Шурка сорвался за ней, но большое крыло, нелепо обвисая, мешало счастью... Но он пытался лететь, падал на кусты и деревья, изодрал грудь, опять поранил ногу и уставший, весь в крови, полз по грязи, трещал клювом, глядя на недоступное ему небо.

Через несколько дней, чуть живого, его разыскал Никита. Он прижимал друга к груди и плакал вместе с ним, задыхаясь от горьких воспоминаний.

Больше никогда аистиха не прилетала к Шурке.

...Вот так и остался у Сони Никита. Сначала рвался назад, а



потом стали они жить вместе. То ли муж и жена, то ли брат и сестра. Вместе болели, вместе старились.

– В твоих картинах много жизни, но очень мало цвета, – критик из Кати был неважный. Она знала, что больше они никогда не увидятся, что этот юбилей Сони, на который её притащил Максим, – последнее её свидание с бывшим мужем в их земной жизни.

– На них Старость, – понимающе улыбнулся ей Никита.

Ветер гнал тучи, от них по земле скользили тени. Собирался дождь. Человек и птица возвращались домой. Впереди у них был ещё небольшой отрезок времени, чтобы просто быть на этой земле. Через два года Никиты Александровича не станет.

Он пригласил в гости на День рождения мужиков из села, всех, кто помогал ему в хозяйстве. Накрыл стол. Все хорошо выпили, и никто не понял, когда у хозяина начался приступ. Засуетились в поисках ингалятора, кто-то съездил за фельдшером в село. Только не успели. А он успел, потому что страшился умереть и лежать в доме непогребённым. Добрые односельчане похоронят его, будут искренне плакать и жалеть, но за хлопотами забудут о Шурке, а когда кинутся искать – не найдут.

Но старик и аист этого ещё не знают и медленно бредут по осыпавшимся листьям, которые что-то поют им...

Эту папку с эскизами и две картины Сашка так и назвала: «Осенние песни». Последние часы она жила на автомате. Александра была собрана и деловита: руководила погрузкой и разгрузкой, прорвалась к главе Гладишинского района, оформила документацию, сама распечатывала бумаги, что-то подписывала, о чём-то говорила с Кислицыным, даже с Генкой шутила. Отчиталась перед Ираидой. Успела проводить родителей – врачей Международного Красного Креста, которые отправились в очередную командировку спасать африканские народы от вирусов и бактерий. И бабушку не огорчила. А что Сашка тиха да задумчива – так ведь творческая она личность. Вдруг вдохновение напало! Пусть сама отбивается. Так ведь никто и не лезет. Чтобы не расплескать себя, наушники, плед на ноги, и закрыть глаза.

*Я отдал бы немало за пару крыльев,
Я отдал бы немало за третий глаз,
За руку, на которой четырнадцать пальцев,
Мне нужен для дыхания другой газ...*

«Люди» («Наутилус Помпилиус»)

Мокрые длинные волосы можно было принять за капюшон, какие

носили монахи времён спасительного и умертвляющего огня «справедливости». Как её зовут? Кто она? Что с ней? Никто ответить не мог, а она не знала. Если бы кто-то посмотрел ей в глаза, то прочёл бы испуг, отчаяние, мольбу о помощи. Когда она оказалась на городской окраине, то, увидев бетонный забор, сбавила шаг. В ступни врезались осколки стёкол, но крови не было.

Впереди показалось нагромождение арматуры, и, с трудом через неё перелезая, порвав плащ, она дотронулась до забора. Дыхание замедлилось, она закрыла глаза. Через миг от её пальцев оторвался и разлился по бетонному ограждению мерцающий свет. Он дрогнул, словно задумался, и сложился в расплывчатые очертания, с каждой секундой обретая ясность. Вдруг свет начал жечь ей пальцы. Она отскочила на шаг, открыла глаза и, закричав, бросилась прочь. На бетоне был не рисунок, а впечатанная тень ангела, распахнувшего крылья.

*Хей, жители неба,
Кто на дне ещё не был?
Не пройдя преисподней,
Вам не выстроить рай!*

«Путь наверх» («Ария»)

– Тише, Сашка, тише. Это всего лишь сон, – Ефимья Кондратьевна привычно баюкала, успокаивая, гладила по спине, вытирала испарину со лба. – Батюшки мои, а наушники-то тебе ночью к чему? Ой, Сашка, Сашка, уморишь ты себя да и меня в придачу. Она ещё что-то шептала, молилась, наверно. Потом, выключив ночник, ушла к себе. А Сашка, привычно пощёлкав кнопками плеера и вернув на место наушники, погрузилась в свой сон.

*Душа моя рядом стояла и пела,
А люди, не веря, смотрели на тело...*

«Вороны» (ДДТ)

Сколько прошло времени, час, два или всего десять минут? По щекам катились слёзы, её и дождя. Она вбежала в коробку недостроенного дома, забилась в темноту, в угол, запахла мокрый плащ. Теперь она помнила всё. И как это впервые случилось. Как однажды у маленькой соседской девчонки она увидела сквозь платице и свитер два кровоточащих узких шрама, длинными полосами пересекавших спинку. А потом она узнавала их у всех, почти у всех. Она даже знала этих людей во сне, они просили её помочь.



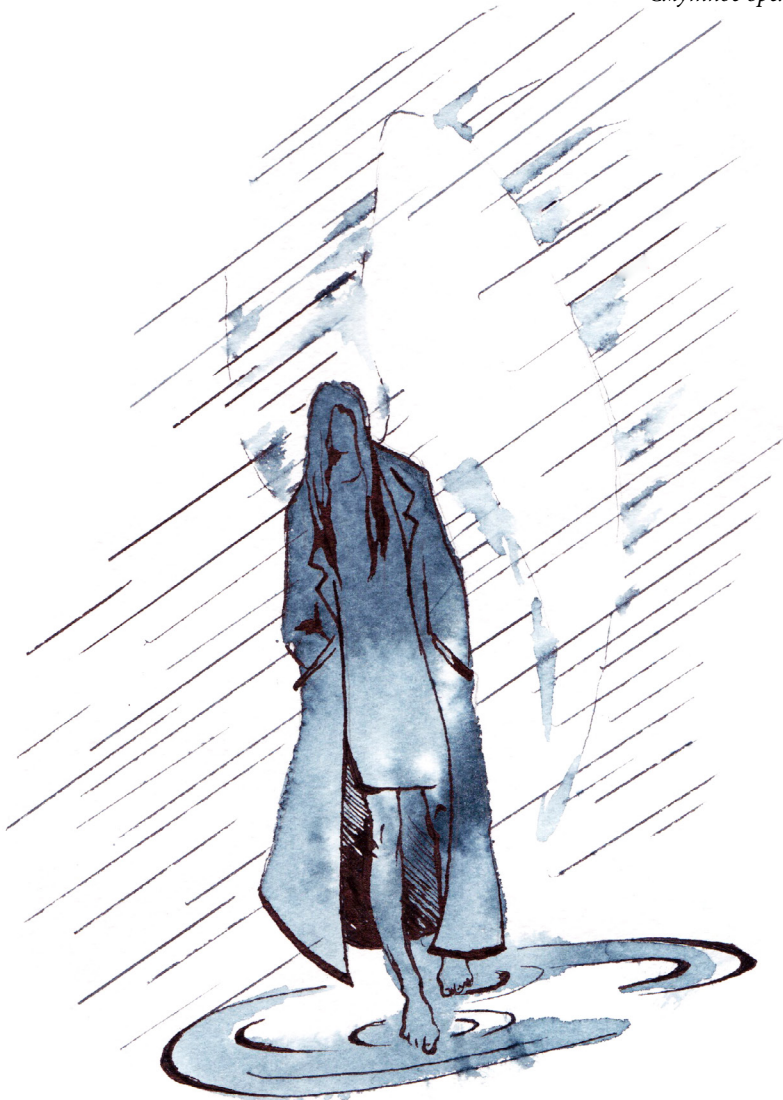
Их крики разрывали душу, их боль не давала дышать. Может, она действительно сошла с ума, но она также знала, что на месте этих шрамов должны были быть крылья!

– Почему? Почему? – беззвучно вопрошала она.

Её голос срывался на визг и возвращался к шёпоту. Ответа не было, но в голове появлялись картины...

*Воины тьмы мир взяли в кольцо,
Тысячи птиц вниз рухнут дождём...*

«Смутное время» («Ария»)



Иван Сотников



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Я, Они и Бэтмен

Я проснулся. Не потому, что мама пыталась перекрычить эти жуткие насосы, звоня к себе на работу, и не потому, что папа буянил. Проснулся, потому что выспался. В соседней комнате работал телевизор. Я задержал дыхание и прислушался. Опять рассказывали про какие-то дурацкие коробки из-под ксероксов. Как будто больше не о чем. Лучше бы мультики чаще показывали. Попинав ногами одеяло, чтоб сползло, я встал и пошёл на кухню. Там наделал бутербродов с маслом, съел их и запил сладким чаем. Ни в моей комнате, ни на кухне часов не было, но я нутром почувствовал: пора на улицу.

За последние месяцы я достаточно подрос, чтобы пользоваться таким чудом технической мысли, как лифт. Теперь меня хватало на то, чтобы вызвать его и нажать кнопку первого этажа. Обратное на седьмой приходилось подниматься уже пешком, но это были мелочи жизни. Когда двери завизжали и стукнулись друг о друга, я осмотрел себя сверху вниз. На мне была красная футболка в белую полоску с пуговичками и воротничком, чёрные шорты, а затем, после некоторого перерыва, сандалии. Правый карман шортов был оттянут чуть ли не до колена. Там лежал Бэтмен.

Игрушкам тех времён стоит посвятить отдельную книгу, и, пожалуй, даже не одну. На их примере мы понимали разницу между западным и восточным восприятиями действительности. Пластмассовые герои Запада приезжали к нам из Китая и Вьетнама, часто изменённые до неузнаваемости. Детям приходилось играть с красными черепашками-ниндзя, жёлтым Спайдерменом, мужественными солдатами, наделёнными явно женскими алыми губами, и прочими жертвами столкновения культур. Только о Супермене сказать особенно нечего. Этот носил трусы поверх штанов, и его никто не любил. Всё это заставляло меня гордиться своим Бэтменом. Он был чёрным. Чёрный костюм, чёрный плащ, жёлтая эмблема на груди: всё, как надо. Я предвкушал зависть товарищей по песочнице, и в моих ушах звучала музыка.

Лифт выпустил меня, в три прыжка я преодолел лестницу и с разбега толкнул обеими руками хлипкую деревянную дверь подъезда. Сделал шаг – и тонул в ярком свете. Стояло утро, и солнце было ещё нежным, незлым. Начиналось длинное, почти вечное лето. Двор был большой, и трудно было поверить, что за его пределами может быть что-то ещё. Проще было думать, что за нашим двором находился Край Мира, и по утрам, когда все ещё спали, хмурый дворник сметал с этого Края пыль и мусор вниз, в Пустоту.

Сначала всё шло по плану. Я вынул из кармана своего супергероя и принялся Спасать Мир. Вся остальная жизнь в песочнице замерла.

Мои отсталые сверстники впервые видели игрушку, настолько похожую на киношно-мультяшный прототип. Аляповатые подделки пали ниц перед почти-оригиналом. Раздались выкрики «Пакежь!», и к Бэтмену потянулись руки. Я наблюдал со стороны плебейскую радость и наслаждался музыкой, что играла в ушах, когда кто-то из девочек крикнул:

– А у Бэтмена пися!

Ангельские трубы и дьявольские тромбоны у меня в голове перестали играть, и наступила звенящая тишина, которую через секунду взорвал злой детский смех, самый обидный на свете. Я выхватил Бэтмена из чьих-то рук и проверил. Действительно, пися.

Так быстро я никогда ещё не бегал и вряд ли сумею снова. Видя лишь собственную тень, я нёсся прочь от злых выкриков. Солнце уже разгневалось и подгоняло. Я добежал до подъезда, захлопнул дверь и побежал вверх по лестнице. Смех всё звучал и звучал. Когда же я, наконец, вырасту, чтобы ездить вверх на лифте?!

Дальше день тянулся медленно. По телевизору всё так же разговаривали про коробки, а играть ни во что не хотелось. Бэтмен был самой новой, а потому любимой игрушкой. Придя домой, я ушёл к себе в комнату, закрыл дверь и лишь тогда позволил себе снова взглянуть на опозорившего меня супергероя. Чуда не случилось, всё было на месте. Орган, название которого, наверно, до сих пор кричали на улице, был чёрный и (это я понял много лет спустя) абсолютно натуральный с точки зрения анатомии. Я засунул игрушку подальше в шкаф, в кучу полотенец, и ушёл в другую комнату злиться. На себя – за то, что упустил такую деталь, на китайских мастеров – за то, что снова не смогли довести всё до ума, на маму – потому что недоглядела при покупке, да на весь мир. А главное – было страшно обидно! Пока я торчал дома, мои друзья со своими плохими игрушками проводили наше общее вечное лето.

Пострадав так почти до самого вечера, я решил действовать. Достав спасителя Готэм-сити из текстильного плена, я пробрался на кухню и взял из раковины здоровенный нож. Мама не разрешала мне пользоваться им. Боялась, что я поранюсь или, что ещё хуже, поцарапаю стол. Но это был особый случай. Приведя Бэтмена в положение «сидя», я положил его набор и приставил нож к основанию «дефекта». Лёгкое нажатие ладонью на лезвие – и нож щёлкнул о поверхность стола (царапина всё-таки осталась!). Чёрный кусочек пластмассы закатился под хлебницу.

Когда я снова вышел во двор, солнце садилось, делая скучные девятиэтажки сказочно-розовыми. Я молча продемонстрировал всем Бэтмена со следами ампутации и присоединился к игре. Кто-



то пытался надо мной подшучивать, но предмета шуток уже не было. Всё вернулось на круги своя. В песочнице теперь были «Мы», а не «Я и Они», и это было здорово. Так проще. И мы, крошечные, как рыбки-банки, сидели там все вместе и ждали осени, чтобы посмотреть, как дождевая вода падает с краёв нашего двора вниз, в бесконечность.

Андрей Королёв



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Как Сашка был Александром

Небо было чёрным, но нестрашным, как глаза у старой собаки. Город же сыто сверкал ярким неонам, как будто намекая, что у него все девять жизней ещё впереди.

Сашка не спеша прогуливался, глядя по сторонам и ни о чём особенно не задумываясь. Поезд отходил через пять часов, и заняться было совершенно нечем.

Вывески по мере удаления от проспекта становились проще, люди встречались реже. Миновав очередной перекрёсток, Сашка заметил, что навстречу, слегка пошатываясь, идёт мужичок, прижимая руку к груди. «Попросит денег или не сможет? Или вообще упадёт?» – вяло подумал Сашка и тут же упал сам, с мягким хрустом сломав спину молодому сугробу. Отряхиваясь, не заметил, как мужичок оказался рядом и уже что-то говорил:

– ...раскатали, они специально песок каждый день подчищают, паршивцы. А Вы, судя по всему, не здешний? Я Пётр Алексеевич, а Вас как?

– Саша.

– Александр. Я вижу, Вы скучаете. У меня есть предложение. Давайте я покажу город, а Вы Владимира колбасой угостите.

– Какого Владимира?

– Да вот этого, – мужичок потянул за молнию куртки, и изнутри показалась лопухая пёсья голова.

– Знаете, мне уезжать через несколько часов...

– Тогда могу провести в одно занятое местечко, тут недалеко, думаю, оно Вас заинтересует. А потом провожу до вокзала. Что скажете?

Сашка присмотрелся к «гиду» – опасным его назвать было никак нельзя – махнул рукой и сказал:

– Поехали!

Он довольно быстро проникся симпатией к этому странноватому помятому мужичку. Пётр Алексеевич был безработным, чем кормился, не сказал, отшутился. В настоящее время делом первейшей важности считал очищение реки, что текла через город. Очищал он её очень своеобразно: пил речную воду и, пропустив через свой могучий организм, возвращал обратно в берега. Почему это делать надо было именно так, Пётр Алексеевич обещал рассказать попозже, ссылаясь на непростые детали физиологического и географического характера, которые проще было бы нарисовать, чем объяснить на пальцах.

В магазине Пётр Алексеевич с надеждой предложил:

– У меня нет средств, но всё-таки, может быть, красненького, Александр?

– Да можно и красненького. Чего-нибудь простого и со вкусом вина, а не чернил. Правда, я...

– Я обычно делаю это наугад. Вот, смотрите, «Тасо Реал». Цена подходящая. Что тут пишут-то... Насыщенный рубиновый цвет в сочетании с яркими свежими ароматами красных фруктов. Сладковатые таннины превосходно дополняют мягкий, но энергичный финал. Каково?

Выпив, Пётр Алексеевич стал ещё разговорчивее.

– Скажите, Александр, а Вы сейчас любите?

– Конечно. С самого детства – котят и бабушку.

– Нет, Александр, я серьёзно. Вы завоевали женщину?

– Завоевал. Но мирное время показало, что не с той воевал. На всякий случай мы подписали пакт о ненападении и разошлись по своим углам.

– Прошу прощения, если...

– Да ничего, всё нормально. Ну а у Вас как с боевыми действиями?

– Я своё отслужил, – хмыкнул мужичок. – Но была со мной одна женщина...

Минут пять они шли молча. Пётр Алексеевич думал о своём, а Сашка думал о Петре Алексеевиче.

– Действительно, как всё верно должно складываться, – вслух продолжил свои размышления Пётр Алексеевич. – Свои недостатки мы редко замечаем, но у других определяем легко и просто. Наверное, поэтому люди по генетической привычке ищут друг друга, а уже потом начинают...

– Портить друг другу жизнь?

– Начинают искать себя, правда, слишком часто ограничиваясь взглядами любимого человека. И вот тут уже, конечно, как повезёт.

– Вам повезло?

– С женщиной – повезло. С самим собой – не очень. Я всё думал: а за что меня любить? Правда, Александр, за что?

– Ну а других за что любят? И вообще, обязательно любить за что-то?

– Не знаю, не знаю. Я все боялся, к другому уйдёт. Она в магазин или на работу, а я с ума схожу. Вот выйду на улицу прогуляться – а если она с кем-нибудь под руку навстречу? И пока ни придёт ко мне, ни обнимет, ничем такую мысль не прогнать. Ладно, что это мы... Давайте я Вам, Александр, лучше про наш город расскажу.

Пётр Алексеевич оказался великолепным рассказчиком. Сашка ещё ни разу не встречал человека, что помнил бы столько случаев, историй и легенд. Например, он узнал, что двум каменным львам, которые стоят на пристани в центре города, уже около пятисот лет, когда-то они принадлежали персидскому правителю Исмаилу. По легенде, он очень рано лишился своего отца-султана и был



вынужден какое-то время скрываться от тех, кто хотел навести свои порядки в стране. Прячась, где придётся, мальчик, с рождения способный к языкам и обладающий удивительным слухом, обнаружил в себе кое-что необычное. Внимательно прислушиваясь к зверям, Исмаил мог воспроизвести на их языке звуковую фразу, которая на некоторое время успокаивала животных до такой степени, что даже хищников можно было щёлкать по носу без риска для жизни. Так, совсем молодым, Исмаил смог приручить трёх львов – трёх звериных царей. И если два из них были вооружены лишь когтями, то третий был немногим меньше солнца и держал в лапе саблю. Впоследствии, когда двух животных поразила болезнь, лекарства от которой учёные безуспешно ищут и по сей день, Исмаил произнес что-то, похожее на рычание, и львы замерли. Тут же слугам было приказано ввести им быстродействующий яд и немедленно залить тела специальным раствором, который быстро затвердевал и по виду напоминал камень, хотя был гораздо прочнее. А в конце XVIII века этих львов доставили в Россию в качестве подарка российскому императору после того, как персам были возвращены отвоёванные во время очередной русско-персидской войны территории. Третий же лев, многому научившийся у своего хозяина, ещё долгое время жил рядом с людьми, и, говорят, даже сейчас его можно встретить где-то в персидских землях, правда, узнать его очень непросто.

Скоро они подошли к не примечательному с виду дому. Пётр Алексеевич набрал комбинацию цифр на домофоне и открыл дверь. Внутри было светло. Из широкого подъезда наверх плавно уходила винтовая лестница с колоннами, наверху был купол. Они поднялись на верхнюю площадку, на которой напротив друг друга у стен стояли два стареньких стульчика. Владимир уже успел вылезти из куртки и исследовал территорию.

Пётр Алексеевич вытащил из кармана кусок газеты, нарезал колбасу. Владимир не заставил себя ждать, хотя только что был где-то на лестнице. Появилась вторая бутылка вина. Сашка посмотрел на часы – не опоздать бы.

– Пётр Алексеевич, не забудьте, у меня через...

– Да-да, я помню. Не беспокойтесь, всё будет хорошо... – ловко откупоривая бутылку, сказал Пётр Алексеевич.

– Вы вот всё спешите, не успеваете... – выпив немного, сказал он. – Я понимаю. Время сейчас такое. Если вы будете стоять и думать, и правда, ничего не успеете. С другой стороны, многое забывается, остаются какие-то смутные воспоминания, в которые порой и поверить-то трудно. Я вот уже дожил до такого возраста, что могу смело повернуться назад, уютно устроиться и хорошенько вспомнить, каким ядрёным золотом отдавало солнце у меня на заре. Закат, конечно, будет неважным: силы уже не те. Да и солнце ваше... – он махнул рукой в сторону старой Луны, которая не помещалась в единственное окошко на пло-

щадке. – Даже учёные заметили, что оно гаснет и скоро совсем...

– Пётр Алексеевич, а почему Вы привели меня именно сюда? Тут интересно, не спорю, но...

– Это ротонда, Александр. Центр города, а может, и всего мира. Наш город геометрически представляет собой шестиугольник. Если провести диагонали, точкой пересечения будет именно это здание. Много слухов ходит про это место, вплоть до того, что здесь Сатана бывает. Врать не буду, Сатану не видел, люди здесь нормальные живут. Но один фокус я вам покажу. Видите стул напротив нас на другой стороне? Идите и сядьте.

Сашка прошёл полкруга и сел, глядя на Петра Алексеевича. Только он хотел спросить, что делать дальше, как за спиной около левого уха раздался голос гида:

– Ну что, Александр, как слышно, приём!

Сашка машинально обернулся, но, разумеется, кроме стены ничего не увидел.

– Здорово, правда? Особенная здесь архитектура...

Так они и сидели друг напротив друга, попивая вино. Пётр Алексеевич рассказывал о строении ротонды, о загрязнённой реке, о до сих пор любимой женщине. Посетовал на то, что планетой сейчас правят марсиане и вряд ли земляне найдут с ними общий язык. Сашка делился своими опасениями относительно бесцельности собственного существования и плохой выживаемости простых людей в настоящее время. Пётр Алексеевич уже под конец разговора поделился, наверное, главной своей историей:

– Знаете, Александр, а я Бога видел. Не знаю, своего или чужого. Два года назад здесь стояли жуткие морозы. Имущества у меня – сами видите, и переночевать оказалось негде. Когда уже сознание терял, увидел, как надо мной нависла огромная лохматая морда, похожая на сенбернарскую. Я не знаю, что это было. Таких размеров не то что у собаки, у лошади не бывает. Она подошла, обнюхала меня и легла рядом, укрыв своей шерстью. Мне что-то снилось, а когда проснулся, то в голове осталась только одна мысль: всему своё время. И смерти моей – тоже... Вот и живу по мере сил. Поэтому, Александр, самое необходимое у Вас есть, остальное найдётся, в своё время. Ищите, Саша, и непременно – среди людей.

То, что говорил Пётр Алексеевич, такой далёкий, отзывалось совсем рядом. Стены были настолько сыты временем, что не могли съесть даже одно короткое словечко. А сытый, как известно, – добрый. И каждое слово ротонда бережно катила куда-то в область Сашкиных лопаток...

Через какое-то время они пришли к вокзалу. Голова поезда тоннула в молоке января, таком холодном, что казалось, будто оно скрипит на зубах.



Сашка попрощался со своим гидом, и так широко зевая, как будто это он собрался проглотить вагон, а не наоборот, исчез внутри. Автопилот помог найти нужное купе, кое-как разобраться с одеждой и полкой. Поезд тронулся, зашевелилась дорога.

Как же он, оказывается, устал... Его голова больше походила на детскую спальню: мысли с весёлым проворством всё ещё прыгали, стояли вверх ногами, догоняли друг друга и кричали малопонятные, но яркие слова. Но очень скоро тишина с помощью каких-то уловок, что известны одним матерям, уложила всех спать, а сама легла рядом с Сашкой и обняла его так нежно, как может только возлюбленная.

Сашке приснилось, что он одет в военную форму и с кем-то разговаривает по телефону. Под ногами – большая лохматая собака с хитрящей мордой. Александру торжественно сообщили о начале очередной войны, а потом подробно ответили на все его вопросы. И с какой целью была построена ротонда, и что стало с третьим львом, которого приручил Исмаил, и за что можно полюбить Петра Алексеича, который носит за пазухой кого-то, похожего на Бога, и спасает мир столь сомнительными способами... И так далее.

В какой-то момент Сашка почувствовал запах свежих яблок и от этого проснулся. Было светло. На полке напротив сидела девушка и хрустела яблоком. Сашка решил спать до последнего и перевернулся на другой бок.

Как говорят некоторые толкователи снов, если проснуться от запаха яблок, все знания, которые человек почерпнул из сновидения, начисто стираются из памяти. Возможно, это пустая выдумка, но Сашка ничего не помнил о телефонном разговоре. Да и с кем не бывает: спал без снов, большое ли дело...



Владимир Краснов



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

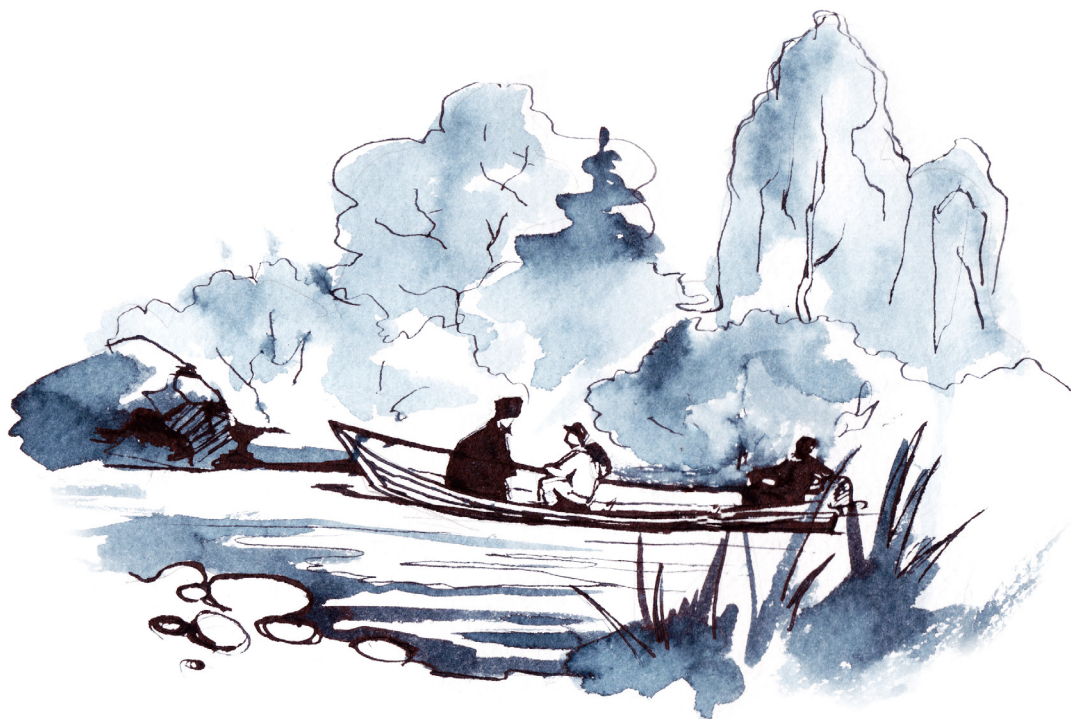
Чтобы свеча не погасла

Сердито ревуший мотор вдруг сконфуженно чихнул, дёрнулся и затих. В наступившей тишине стало слышно, как бурлит, вспениваясь и расходясь кругами, беспокойная мстинская вода и гудит высоко в небе самолёт. Рванув на себя витой засаленный шнур и не добившись ничего, кроме лёгкого взбрыкивания винта, Иван Иванович взялся за весло и направил лодку к берегу, благо он был совсем рядом и до кустов, дрожащих под напором воды, можно было дотянуться рукой. Но течение подхватило нас и понесло наперегонки с пузырями и ключьями прошлогодней травы, застревавшей в частом гребне прибрежного ивняка бурями неопрятными лохмами. Наконец, лодка уткнулась в заилившееся дно, и моторист наш, хмуρο глядев жалко оголившийся винт, буркнул с досадой:

– Болты срезало! – и, кряхтя, выволок из-под кормовой доски запасной мотор, предусмотрительно прихваченный в дальнюю дорогу...

И вот опять мы на середине реки, и опять она норовит пустить нас по течению, как щепку. Но мы, хоть и с натугой, но всё же ползём мимо угрюмых лесистых берегов, ещё хранящих запах талого снега и прелой листвы, сквозь которую то здесь, то там пробиваются синие огоньки подснежников.

Остались позади Нижние и Верхние Перелески, Корчажиха и



Кривое Колено, проплыли над головой провислые провода высоковольтной линии, а до Низовки, куда мы с отцом Дмитрием направлялись за колоколом для Никольской церкви, было ещё далеко. Скрытный сумрачный мир прибрежных кустов, едва подёрнувшихся зеленоватой дымкой, нехотя открывал нам свои тайны, являя взору то птичье гнездо, то родник, дрожащий серебряной нитью ручья, то трясогузку, пьющую из лужицы воду... И жаль было, что надоедливый стук мотора мешает услышать, чем живёт в эту радостную пору лес и как плещется и шумит на перекатах река. Здесь она была тише, спокойнее и больше уже не напоминала ровноростную необъезженную лошадь, какой казалась вначале. Лодка пошла шибче, и берега не тянулись теперь томительно и скучно, а бежали чередой, меняясь так быстро, что я не всё успевал разглядеть. Перекричать мотор было трудно, и мы с отцом Дмитрием молча показывали друг другу то на уток, поднявшихся на крыло, то на журавлей, медленно плывущих в синем омуте неба, и кивали головой, улыбаясь и разводя руками от невозможности выразить всё, что открывалось нам в тот солнечный апрельский день, ещё не набравший силу и дышавший утренней сыростью и холодком.

Мир Божий был поистине прекрасен, и когда мы пристали, наконец, к берегу и взошли на травянистый бугор, навстречу нам выбежали дети, давно и нетерпеливо поджидавшие нас. Это было видно по тому, с каким жадным любопытством смотрели они на отца Дмитрия, разглядывая непривычное его одеяние и большой наперсный крест, жарко сиявший на солнце, с какой радостной готовностью вызвались показать дом Анастасии Семёновны Васильевой, через которую велись переговоры о передаче колокола Никольской церкви. Событие это, по всей видимости, долго обсуждалось в деревне, и мужики, как водится, намекнули на магарыч, сочтя такую форму расчёта самой что ни на есть подходящей, но баба Настя резонно возразила, что тогда, мол, пойдут разговоры, будто низовские пропили колокол, да и не дело это – мешать грех со спасеньем... Узнали мы об этом от неё самой, когда прошли сквозь тёмные сени и поднялись в дом, пахнущий печным теплом и пирогами. В большое настенное зеркало заглядывало солнце, тёплыми бликами расплескавшееся по половикам и придававшее комнатам вид беззаботный и весёлый. Был канун Пасхи; на круглом столе горкой лежало неглаженое бельё, распространявшее запах улицы и ветра; хозяйка гремела на кухне ухватами и вышла к нам из-за ситцевой занавески, вытирая руки о край передника, чтобы сообщить, как уладилось дело с колоколом, куда идти дальше и как много перед праздником хлопот...

Мы не стали досаждать ей разговорами и, отказавшись от молока и чая, направились дальше. Обсаженная ивами улица забирала



в гору и сворачивала к часовне, в незапамятные времена построенной купцом Поташёвым. Что это был за человек, не пожалевший денег на святое дело, и как сложилась его судьба, здесь давно забыли. Забыли и о том, как военные сняли и увезли куда-то колокола, один всё же оставив, чтобы звонить, если, не дай Бог, случится пожар, или зимой, в сильную метель.

В три гулких раскатистых голоса, бывало, будили они сырую речную тишину по большим церковным праздникам или когда батюшка из Устья приезжал служить молебен о ниспослании дождя в засушливое лето. Нет давным-давно ни церкви в Устье, её разобрали на кирпичи, оставив один фундамент, нет и самой деревни, точно её и не было никогда, нет и отца Николая, ни за что ни про что арестованного и пропавшего незнамо где...

А колокол ещё долго висел в разорённой и заброшенной часовне, едва слышно отзываясь на всякий шорох и скрип, покуда по команде совхозного начальства не перенесли его в житницу. Часовню превратили в постоянный двор для сезонных рабочих. Народ здесь обитал разный, и кто-то, прикинув, сколько пудов бесхозной меди пропадает в ветхом амбарчике, решил оплошку эту исправить, снарядив однажды ночью экспедицию в Низовку. Искателей приключений деревня встретила стрельбой и таким неистовым и дружным собачьим лаем, что они за благо сочли удалиться восвояси. Колокол после этого спрятали в хлеву у Ивановых. К ним-то мы с отцом Дмитрием и направились, сопровождаемые эскортом из деревенской ребятни.

В Низовке тринадцать домов, срубленных столь основательно и добротно, что невозможно представить, как замирает к зиме эта ладная, красивая деревня, с которой хоть картины пиши. Но отойдёт дачный сезон, опустеют огороды, грустно пахнущие подопревшей картофельной ботвой и капустным листом, и закурится Низовка тремя хмурыми дымами, как какой-нибудь глухой и дальний хутор. Да и то сказать – до магазина, почты и медпункта пять вёрст по бездорожью; до ближней Дубровки, переправившись на лодке и взойдя на крутой и высокий мстинский берег, вроде и поближе, но путь этот, если идти с поклажей, покажется бесконечным. Тропка то ныряет в сырой и сумрачный овраг, то взбегаёт наверх и петляет в дремучем ельнике, постоянно натываясь на поваленное бурей дерево и, в конце концов, приглашая перебраться через обмелевшую речушку по хлипким, ненадёжным мосткам. Хуторская обособленность приучает держаться друг друга, и даже дети, большие и маленькие, городские и свои, играют все вместе. Мы успели в этом убедиться, наблюдая за их пёстрым и шумным табором со стороны, покуда мужики прилаживали колокол брезентовыми вожжами к еловой жерди. В вязком сумраке не видно было ни колокола, ни добровольных помощников, взявшихся доставить его к лодке.

Высоко в небе плескался невидимый в золотистой сини жаворонок, мычала в хлеву обеспокоенная непонятной вознёй корова, кричали занятые игрой ребятишки, и вдруг, точно земля разверзлась, глухо звякнул и загудел потревоженный колокол, эхом отозвавшись в душе. И вспомнилось мне, что в старину звон этот звали Божьим гласом и слушали его не иначе как перекрестившись. Согнувшись и пошатываясь от тяжести, мужики направились к берегу, выбирая путь посуше и поровней, точно боясь расплескать густой раскатистый гул, ещё звучащий в ушах дальними отголосками. Из дома вышла хозяйка и, провожая колокол глазами, попросила:

– Вы уж, батюшка, не забывайте нас. Приехали бы, у нас дети некрещёные, дочка у меня больная, инвалид с детства...

По реке всё так же гулял ветер, морща мутную вешнюю воду и раскачивая прибрежные кусты; деревья с махавшими нам вслед ребятишками удалялась; вот стали видны только тёмные козырьки крыш да округлые контуры старых ив, ещё не одевшихся листвой; вот и они пропали, сменившись серой полосой ольшаника. Иван Иванович в своей линиялой фуражке с молоточками на околыше был похож на морского капитана. И лицо его было так же сурово и обветрено, и смотрел он куда-то вдаль, куда и положено смотреть капитану, и был сдержан и немногословен, и мне стоило немало труда узнать, что он всю жизнь проработал на железной дороге. Лодочный мотор стучал ровно и весело, точно понимал, что возвращается домой, что на Мстинском Мосту хозяин взвалит его на плечи, отнесёт в сарай и ещё раз по винтику переберёт и смажет машинным маслом и солидолом.

В самом конце пути, когда уже явственно слышался дробный прерывистый перестук проходящих по мосту поездов, он всё же заглох. К берегу мы подходили на вёслах, долго копались и прилаживались, прежде чем вызволить грузное тело колокола из лодки и поднять наверх, к ожидавшему нас УАЗику.

В середине лета, когда завернули неожиданные холода, мы снова отправились в Низовку. И снова Иван Иванович Адамов невозможно сидел на корме и зорко глядел вперёд, чтобы на обмелевшей реке не напороться на камень и обойти мели. Отец Дмитрий был в пальто, надетом поверх чёрного подрясника, а я кутался в дождевик, предложенный мне Иваном Ивановичем, и всё равно дрожал от зябкой речной сырости.

В Низовке отца Дмитрия ждали. Просторный дом Анастасии Семёновны Васильевой был полон народу, подходили ещё. То и дело хлопали двери, и принаряженные молодые мамы приводили своих умытых и причёсанных чад, подталкивая их к багюшке,



занятому последними приготовлениями к таинству крещения. Непривычная суэта, воцарившаяся в доме, тихие, шелестящие слова, которыми односложно обменивались притихшие в прихожей женщины в платочках и со свечками в руках, густой гулкой голос священника, отдававшего короткие малопонятные распоряжения, пугали детей, они жались к материнским подолам, не решаясь войти в горницу, где стояла купель с водой и пахло растопленным воском и ладаном. А когда вошли наконец робкой, нерешительной кучкой и встали, как велено, самый маленький не выдержал, распустил губы и заревел. Глядя на него, вскрикнул и залился другой, за ним третий, и через минуту рёв оформился в хорошо слаженный хор со своими солистами, перепеть который отцу Дмитрию стоило усилий. Но мало-помалу детишки успокоились и сквозь невысохшие слёзы с опасливым интересом стали следить за всем, что происходило в этой большой светлой комнате с иконами в красном углу...

Вышли они, сияя и теребя крестики на груди. В доме сразу сделалось как-то светлее, просторнее, хотя людей здесь прибавилось, и у каждого было дело к батюшке. Всякому он улыбался, говорил простые сочувственные слова, и они казались значительными, важными для всех, кто слушал его, держа в руках только что купленные молитвенники и иконки. Из всех, кто подходил к нему, наверное, только восьмидесятишестилетняя баба Настя ещё помнила те давние времена, когда в деревню так же приезжал батюшка, только служил он тогда не в избе, а в часовне, над которой празднично трезвонили колокола. Но пустая часовня служила теперь обиталищем крыс и мышей, и не было в округе купца Поташёва, который взялся бы на свои средства заново отстроить её.

Не нашлось такого человека и в Выставке, куда мы приехали в день Покрова Пресвятой Богородицы, дважды по пути застряв в непролазной грязи. Погода на праздник выдалась тёплой и солнечной, закиданная листьями дорога тарасилась в ясное небо мутными зенками луж, напоминавших временами пруды и озёра, но Николай Иванович на своём выдавшем виды «козле», обитом железом, до поры до времени умудрялся благополучно форсировать их. Однако после того как свернули на какой-то ещё более глухой и непроезжий тракт, наш похожий на карету автомобиль, обиженно булькнув выхлопной трубой, плотно сел посреди необъятной лужи. В кабине осталась Лидия Павловна, не выпускавшая из рук сумки с просфорами, иконками и книжками, а мы с отцом Дмитрием выбрались на обочину и долго возились, подкладывая под колеса ветки и толкая машину сзади, пока она не выползла из дорожной хляби. Заляпанная грязью, взмокшие и усталые, мы еле отмылись в придорожной канаве. В ближайшей деревне выяснилось, что занесло нас совсем в другую сторону. Ещё раз пройдя через те же передраги с бестолковым топтанием в грязи, мы, наконец, выкатились

на деревенскую улицу, вытянувшуюся вдоль реки.

Подпёртая колышками часовенка, заметно покосившаяся набок, была слишком стара и ненадёжна, чтобы служить в ней молебен. Собрались в доме Риммы Александровны Климентьевой. Маленькая сухонькая хозяйка и её бойкие помощницы (все в годах почтенных) быстро и незаметно сделали всё, что требовалось для предстоящего богослужения. На стол в большой комнате поставили ведро с водой, укрепив по бокам зажжённые свечи, стулья вынесли, скатали половики...

На той стороне Мсты тёмной зубчатой стеной тянулся потухший к холодам лес, под окном широко растопырилась старая осина, а с ковра на стене перед громоздкой, с никелированными шишечками кроватью брели к водопою олени и цвели вокруг них диковинные цветы. На кухне брэнчала и звенела посуда, хлопали одна за другой двери. Лидия Павловна принимала записочки «о здравии» и «об упокоении», торговала свечками и между делом расспрашивала знакомых старушек о житье-бытье. Народу собралось много, приехали даже из-за реки, и в доме, казавшемся таким вместительным, стало тесно. Но, когда началась служба и густой протяжный голос отца Дмитрия поплыл по комнате, наполняя её берущими за душу словами молитвы, места хватило всем, даже тем, кто замешкался и пришёл позже. Были тут старики и старухи, весь свой долгий век вековавшие в Парнях, Девкине, Красной Горке, Серегеже или здесь, в Выставке, были не успевшие уехать дачницы, были и молодые мужики, неумело крестящие лоб, и их жены, и дети, во все глаза глядевшие на батюшку в красивом голубом облачении, на его широкую окладистую бороду, на мерцавшее тусклым жаром кадило, на кисточку, которой он, обмакнув её в ведёрко, кропил всех святой водой...

За узорными занавесками с летней беззаботностью сияла и поблескивала Мста, и, если бы ни дубок на берегу, жалко трепыхавший на ветру бурыми скрученными листьями, да ни лохматые пряди пожухлой осоки, легко было поверить, что лето ещё не ушло и старикам, которые, не скрывая слёз, внимали каждому слову молитвы, ещё рано собираться на зиму к детям в чужие постылые города, рано заколачивать досками родимые окошки, моля Бога о том, чтобы дал помереть не там, а дома, среди покоя и тишины.

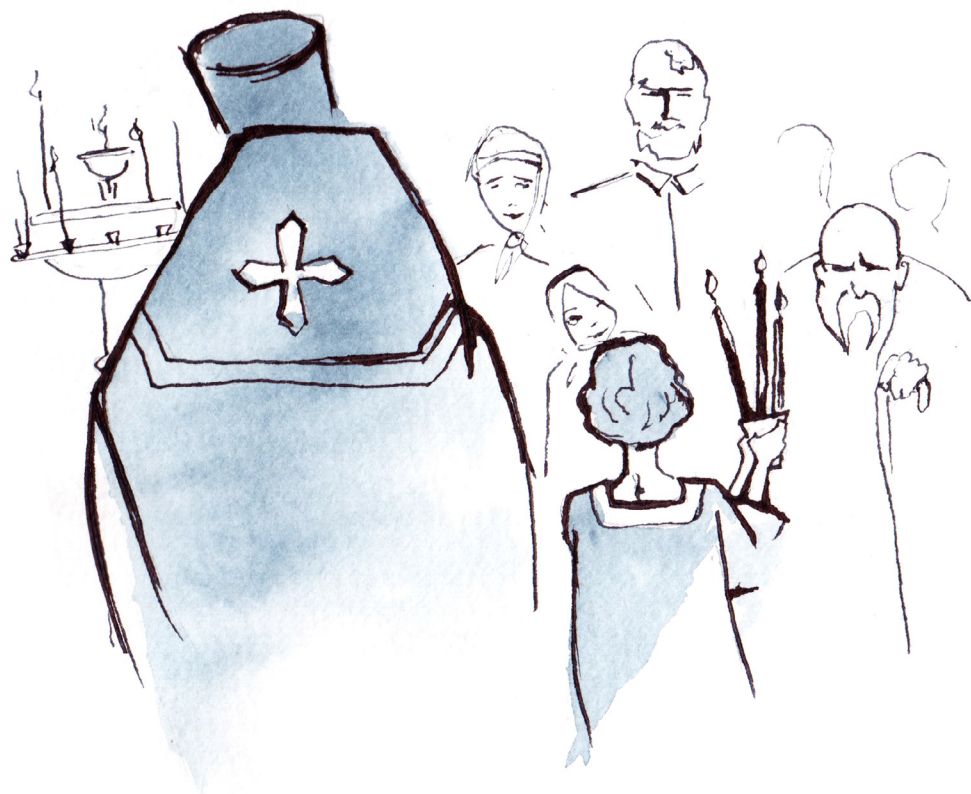
Все эти затерянные в глуши деревеньки, сторонящиеся больших дорог и жмущиеся к озёрам и рекам, отец Дмитрий исходил и объездил за три с лишним года, с тех пор как перебрался с семейством в Малую Вишеру, став здесь настоятелем только что открывшейся церкви святителя Николая. Построенная тщанием богомольных старушек, она возрождалась взамен некогда разрушенной, и молодой её настоятель, иерей Дмитрий Шкодник, продолжил то, что



до него было начато, собрав для начала все сохранившиеся в районе колокола, в том числе, тот, что мы с такими приключениями везли из Низовки, и тот, что нам сняли с пожарного столба в Выставке, наказав приехать туда ещё раз. Далеко не везде отдавали колокола охотно, усматривая какую-то корысть, а то и вовсе не отдавали, и тогда куда более настырные и расторопные охотники за цветными металлами, коих в последнее время развелось так много, не спросясь, под покровом ночи увозили их неизвестно куда. Но, слава Богу, всё растащить они не успели, и теперь по праздникам плывёт над городом колокольный звон, наполняя душу светом.

В храм несут и чудом сохранившуюся церковную утварь, и старинные иконы. За самыми большими из разорённых церквей и часовен отец Дмитрий ездил сам, добираясь до места где на тракторе, где пешком. Так были обретены икона святой преподобномученицы Анастасии, Иверская икона Божией Матери, за которой пришлось ехать аж в другой район.

Человек он деятельный, за всё берется, и всё у него с Божьей помощью получается; и даже люди вздорные и самолюбивые, гордящиеся



своей неуступчивостью, и те подчиняются ему, заходит ли речь о поездке в очередной медвежий угол или о том, чтобы выделить детскому приюту конфеты и пряники к Рождеству, а старушкам – муку и постное масло. Как у него на всё хватает времени и сил, знают только он, матушка Вера Николаевна да тётя Анна Кузьминична, которая когда-то и подвигла его на этот путь.

Иногда мне кажется странным, что он был обычным школьником, учился в автодорожном техникуме, служил в армии и до поступления в духовную семинарию мало чем отличался от всех остальных. Под Шепетовкой на Украине живут его родители, три брата и сестра, по которым он очень скучает и радуется, когда они приезжают в гости. Все они неуловимо похожи друг на друга. На любительских фотокарточках, где всё семейство, улыбаясь, смотрит в объектив, отец Дмитрий, даже если на нем нет рясы и наперсного креста, кажется старше других, и не годами, а чем-то куда более значительным и важным. Жизнь его, состоящая из того, что есть во всякой жизни, исполнена ещё и тем высоким и светлым смыслом, который так трудно выразить словами и который так ясен и понятен, когда бываешь в церкви.

Вечно он куда-то спешит и, помимо прямых своих обязанностей, взваливает на себя бездну чужих забот, которые воспринимает как свои, всерьёз расстраиваясь и сердясь, если что-то не выходит. Зато как весел и доволен бывает он, когда ему удаётся о ком-то похлопотать, что-то устроить, кому-то помочь! Церковь его неустанными трудами преобразилась, приобрела то благолепие, какое и должно быть в православном храме. В будние дни народу на службах бывает немного, но, кроме старушек, всё чаще можно увидеть здесь молодые лица. Кто-то приходит от случая к случаю, кто-то заглядывает из любопытства, а кто-то остаётся и возвращается снова и снова...

Но идут не только на службу и не всегда с добром. По ночам стучатся бродяги и, дыша винным перегаром, умоляют дать денег, сочиняя на ходу душещипательные сказки с непременно клятвами возратить долг «тут же, как только...». Загулявшие молодцы, колотя палкой по забору, требуют батюшку для пьяной исповеди... И он выходит, кого-то увещевает, кого-то ругает, кому-то даёт хлеба... Кого только ни притягивает к себе стоящая в окружении трёх дорог и городского кладбища церковь! Вся она, от крылечка до куполов, увенчанных серебристыми крестами, от дома, сторожки, амбара и бани до колодца и огорода, на виду, как на виду и жизнь самого отца Дмитрия. Но, несмотря на это, какие только небылицы ни сочиняются в воспалённых завистью умах, какие только сплетни ни плетутся на пустом месте...

– Как мы быстры на зло и как медленны на добро! – восклицал



святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Легче поверить заведомым бредням, чем тому, например, как в пост священник, отложив все свои дела, обходит больничные палаты, исповедуя и причащая измученных хворью людей, или тому, как помогает он неизлечимо больной четырнадцатилетней девочке перенести страдания, хлопочет насчёт машины, чтобы отвезти её на операцию и привезти обратно, достаёт для неё деньги и лекарства...

Легче всего этого не видеть, не знать, не подозревая, как тяжело отпевать умерших в расцвете лет людей, как трудно смириться со смертью детей, нищетой, пьянством, ожесточением душ, ложью и клеветой... Священник не может закрыть на это глаза, делая вид, что ничего не происходит.

Облачившись в куртку и надев на голову берет, он цепляет к тележке громыхающий молочный бидон и отправляется за водой на колонку, потом встречает Варю из школы, а Мирона – из садика. Если у сына хорошее настроение, он балагурит, ёрзая на раме отцовского велосипеда, и задает ему бесчисленные вопросы, а если, не дай Бог, устал и не выспался – сердито молчит и глядит по сторонам. Обладая характером живым и непоседливым, он никого, кроме отца Геннадия, не боится. И, когда тот приезжает из Петербурга к Шкодникам погостить, с опаской на него поглядывает и потихоньку интересуется, скоро ли чужой батюшка уедет. Ещё года два тому назад, когда его спрашивали, кем он будет, когда вырастет, Мирон, не задумываясь, отвечал, что будет, как папа, покойников отпевать. Теперь он иначе смотрит на своё будущее и, примеряя офицерскую фуражку, подаренную ему дядей Славиком, поочерёдно решает быть то моряком, то десантником. А недавно заявил, что будет ловить рыбу, как апостол Пётр.

Что касается Вари, то она уже год отзанималась в музыкальной школе и на зависть брату довольно бойко исполняет на фортепьяно простенькие вальсы и этюды. Мирон в долгу не остался, научился играть гаммы, но первоклассницу Варю его успехи не удивили, и она сказала, что это ерунда, вот попробовал бы он решать задачи... Мирону, однако, тоже есть чем гордиться. К Пасхе ему приготовили замечательный, с золотым шитьём стихарик. Он надел его к полунощнице и важно прогуливался перед алтарём, пока шла служба. В церкви яблоку негде было упасть, но Мирона это ничуть не смущало, и он протискивался в толпе, куда ему было надо, то выходя на улицу, тоже заполненную народом, то залезая на хоры, к маме, и глядя с высоты на горящие внизу свечи, на иконостас и царские врата, на людей, стоящих внизу. Когда к заутрене зазвонили колокола, он запросился на колокольню, но матушка его туда не пустила. Зато он видел крестный ход и сам шёл с маленькой свечкой, заслоняя её ладошкой, чтобы тоненький стебелёк живого огня не задуло ветром...

Наталия Тубарева



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Арабский бублик

Вот так всегда: начнёшь писать великую вещь – ан нет, не идёт! Эйдосы слов, теснящиеся где-то между рёбрами и бегущие наперегонки вверх, словно пузырьки газировки, по всем ощущениям должны материализоваться в прекрасный текст. Но на экране монитора отчего-то оказываются совсем не тем, чем обещали стать.

Остаётся лишь с недоумевающей безразличностью смотреть на этих неповоротливых гадких утят, несостоявшихся лебедей... Гуси-лебеди, унесите меня в сказку, в тёплые края... «Да побывала уже в сказке, погрелась на солнышке. Вон, облезаешь вся! Кожу сбрасываешь, аки змея!» – гогочут противные приземлённые гуси. И возвращают на Среднерусскую равнину с недостигнутых высот.

А ведь возразить нечего. Да, действительно, была. Действительно, грелась. И даже сходство со змеей не метафора, а брошка – единственное украшение моей ничем не примечательной биографии.

К слову, о сказке. Я уже три года мечтаю побывать в Италии. И два из них еду в Египет. Официальная версия столь непоследовательного поведения – последовательность моего начальства, которое понимает бесценность моего таланта буквально. И решительно не желает за него платить.

Истинная же причина гораздо сложнее. И, как учил нас Фёдор Михайлович, глубже.

Дело в том, что Италия для меня – место историческое. А значит, реальное. Там нужно ходить, благоговей, вдыхая разбавленный пополам с величием кислород. И, шагая по такой же, как и везде, отравленной сиюминутностью земле вечного города, в три шеи гнать крамольную мысль: «Ну вот, сбывлась мечта идиотки!»

Египет – это сказка. Первый глоток его сухого, кружащего голову ветра действует, словно заботливо приготовленный добрым весельчаком-анестезиологом наркот: «Оторвись от реальности, деточка! У тебя её и так постоянный передоз!»

Вдыхаешь раз, другой, третий... И вот в голове, элегантно приоткрыв дверь ногой, возникает вальжная идея: «Всё, что начинается здесь и сейчас, – неправда. Ты попала в бублик, где события не имеют значения, знака «плюс» или «минус». Тюрьма пятибалльной системы распаивает двери. Так насладись свободой, вечная зечка-отличница!»

Это арабский бублик. Ставлю на «зеро»!

Леденящий душу раскат дверного грома. Ассоциация чёткая: так хлопают двери в курской тюрьме, где побывала неделю назад.

Сейчас я в арабской квартире. Я здесь впервые. Я здесь одна.

Чтобы справиться с ощущением дискомфорта, заглядываю в телевизор. Весёлые арабские мужчины и женщины поют весёлые арабские песни («Это они сейчас танцуют, а потом раздеваться начнут. А ты говоришь: «Мусульманская страна!»).

Телегипноз не действует. Волнение усиливается, эмигрируя в страх. Нервно нарезаю круги по комнате:

– Квартира нежилая. Знаю его четвёртый день, причём однажды он меня почти обманул. И вообще, как можно верить арабам? – взгляд застывает на бутылках минералки и «Пепси» на столе. – Оставил мне воды, чтобы я протянула несколько дней! А потом придёт араб, которому он меня продал, и... Куда я поехала, никто не знает... Сказала: на часок, попить кофе. Дура, идиотка, кретинка! Господи, помоги! Клянусь, больше никогда так не буду!

Сердце выпрыгивает из груди, начинает тошнить. Ледник ужаса перепахивает живот и ползёт выше. Чтобы не потерять сознание от этого обжигающего холода, бросаюсь к двери и рву её на себя.

Призрак вечного сексуального рабства рассеивается. Спокойное лицо смотрит на меня чуть удивлённо:

– Что случилось, хабиби?! Я здесь!

– Это настоящие? – спрашиваю у твоего младшего брата Мухамеда Али. Конечно, его зовут не так. Но в этом прелесть Египта: никому, в сущности, нет дела до имён. В многолюдной пустыне, где люди-песчинки ускользают из рук (какие уж тут имена, удержать бы в памяти носителей!), гораздо естественней обходиться без них. (Хорошо-то как, Маша! Не Маша? Да какая разница, лишь бы хорошо!)

– Это настоящие? – повторяю свой вопрос, теребя связку «железобетонных» бубликов. И, склеивая в сознании видеоряд египетской сказки, заканчиваю диалог твоей репликой:

– Это – только часть моих подарков. Квартира родителей завалена сувенирами. Приходишь, как в русский дом!

Ты никогда не видел русских домов, и, конечно, не знаешь, что там днём с огнём не сыщешь ни матрёшек, ни деревянных ложек, ни бубликов, подвешенных к потолку. Даже картинки с презервативами под стеклом – сувенир не менее традиционный, чем матрёшка – редко украшают стены русской квартиры. Возможно, ты убедишься в этом позже: ваш Аллах, как и русский Бог, любит шутить. Пока же на вопрос, когда в Россию, хитро поднимаешь вверх правую бровь:

– А я там буду богатенький? Нет? Тогда на фиг!

Тебя зовут Макс. Точнее, Ахмед. Но об этом, кажется, забыли все, начиная с тебя самого. Три года назад ты запустил в движение страшный механизм – избушку на курьих ножках, набитую диковинными травами. Но, заигравшись в гостеприимного шамана, забыл волшебную команду, по которой она принимает статичное положение. Теперь избушка вертится, будто злой прохожий угостил её не маслицем, а ракетным топливом. Ты вращаешься вместе



с ней в головокружительном хороводе шуток-прибауток на безумной скорости своей пулемётной речи. Говоришь ты на смеси... нет, не ломаного... скорее, филигранно выгнутого русского языка и виртуозного мата. Острые словечки украшают твою неподражаемую речь, как бриллианты – расписанный под хохлому кафтан.

Ты – китч. Твой магазин, где красивые скляночки с эссенцией французских «Jadore» соседствуют с футболками «Dolce&Gabbana» и бедуинским чаем, – китч. Да что там, Макс, вся твоя жизнь – китч!

Но! Русские готовы заплатить за арабскую подделку гораздо дороже, чем за постылую подлинность своих соотечественников. Да, да, мы дорого дадим, чтобы нас обманули. Но только чур по-настоящему! Чтобы ни на секунду не возникло сомнений, будто именно с нами ты был кристально честен, именно нас ты выбрал из тысяч других. Оформил дарственную на кусочек сердца.

Словом, Макс, мне ли тебя учить? Надуй нас, как умеешь только ты!

Разъярённое солнце палит так, словно решило не просто нанести удар, а разом отправить всех в глубокий нокаут. Белая посуда, гордо именуемая «корабль», покачивается, «творит тошноту»... Восхититься бы замысловатостью филологической виньетки, да сил нет. Морская болезнь...

Мы, «группа Максима», сидим на яхте, пустыми взглядами уставившись в пол, на воду, на горизонт – кто куда! Молчим. Самые бодрые меланхолично кормят рыбок тестом. Самые страждущие – съеденным с утра завтраком. За это «удовольствие» каждый из нас заплатил по двадцать пять долларов.

– И масло от обороняния, которое Максимка продал, не помогло, – нарушает тишину горькая ирония голубоглазого сибиряка.

Детские глаза, совсем как у обиженного мишки, которого уронили на пол, оторвали лапу и бросили, наплевав, что он хороший... Да и зовут-то его, кстати, Мишкой. Как и все остальные, он никогда не признается, почему на самом деле купил эту экскурсию. Слабо угадать с одной попытки? Даю подсказку: ты клятвенно обещал плыть с нами.

Теперь над яхтой – палящее солнце, под – ледяная вода, а на палубе – качка. Но повода обвинить тебя во лжи нет: моря хоть залейся, рыбки будут сниться в кошмарах, Райский остров – через полчаса. Но горло царапает сухая констатация факта: «На мне, доверчивой дуре, просто нажились!» Или ты думаешь, мы ради этих чёртовых рыбок ехали на экскурсию? Брось, хабиби, сам знаешь: мы приехали за твоим общением, обаянием и (ты будешь смеяться) – душой! Русские, знаешь ли, – удивительно душевные люди! Нам неинтересно, когда Психея не при делах.

Уловив это чутьём прирождённого торговца, ты запасся сотней бу-тафорских душ. И подарил каждому из нас свою – вместо жука-ска-

рабея, которых впаривают в других лавках. Но туристов, в каждом из которых живёт маленький Люцифер, не проведёшь. Мы не хотим тащить домой дешёвый маскарадный костюм. Мы норовим оторвать на память кусочек кожи. Каждый раз, преодолевая препятствие – очередного доверчивого «друга», – едва ли отдаёшь себе отчет, как он царапает тебе душу, словно крестовина – брюхо измученному конкурю арабскому скакуну. Через пару дней, конечно, уже не вспомнить ни имен, ни лиц... Но остаются шрамы. И десятки фотографий под стеклом стола в твоём магазине.

– Интересно, ты хотя бы примерно помнишь, who is who?

– Да, у меня очень много русских друзей, – уклончиво отвечаешь ты. И вдруг:

– А сколько вы дружите?

– Уже шесть лет! – отвечаем хором.

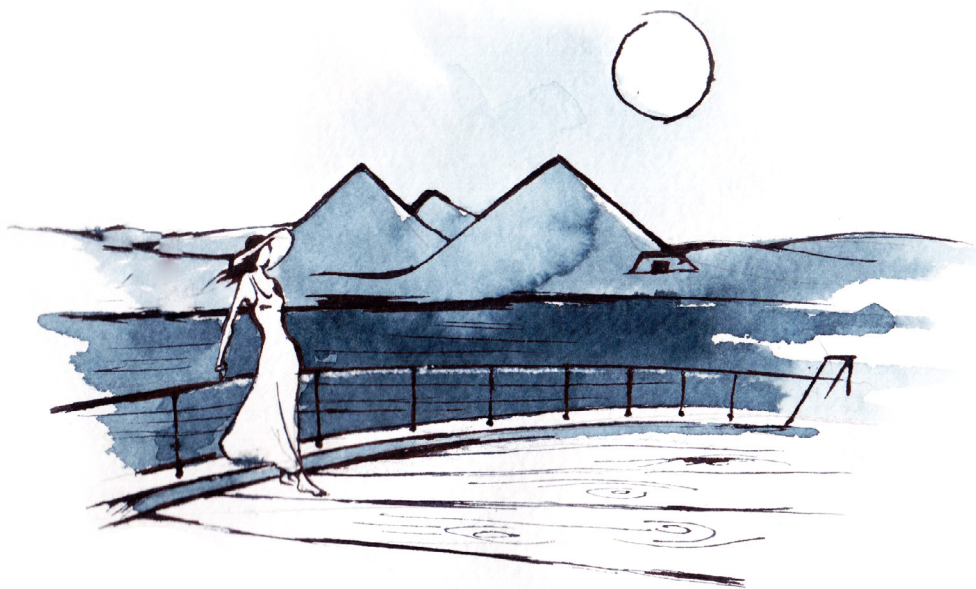
– Кошмар! Как можно так долго дружить?!

– Это и есть настоящая дружба, Макс! А у тебя в России не друзья, а так – знакомые.

– Да, наверно. В России... И здесь.

Попсовый мотив «весёлого Макса» исчезает.

– Сегодня еду с туристами по пустыне. Сзади сидит девушка. Вдруг видим: в пустыне брошенный квадроцикл. Она спрашивает: что это? Это обычное дело, говорю. На группу, которая ехала перед нами, напали бедуины. И, чтобы они пропустили ехать дальше, им



отдали самую красивую девушку. Это нормально. Так бывает.

Я корчусь от смеха на красном диване твоего магазина. Как артист на сцене, подзаряжаешься энергией зрителя и продолжаешь:

– У неё вооот такие глаза! Спрашивает, ты это серьезно? Я говорю: конечно. Конечно! Ко мне тоже подъезжали бедуины:

– Отдашь девушку?

– Ёб твою, да забирай!

Какой-то умный дядька сказал, что мат – свидетельство духовности русского народа. Слушая, как ты материшься, предпочитая обжигающий, воплощённый в искорках твоих лукавых глаз русский мат холодному американскому, заключаю: ты духовен! И ловлю себя на том, что принимаю тебя совсем за своего, за русского, отчего-то потерявшего способность произносить твердый звук «л».

Флиртую (высшее признание равенства!):

– Они похищают самых прекрасных девушек?

– Конечно! Почему, думаешь, у бедуинов рождаются дети с зелёными глазами?

Надо же, заметил. Китчевый амур, продрал глаза на верхней полке с футболками, даже спросонья не промахивается...

«А остальное можно сказать друг другу глазами»... И где его учили так оттачивать стрелы? Мы обмениваемся долгими взглядами на русском. Ты прошёл тест на знание языка. Я влюбляюсь: безоглядно и навсегда. А разве в сказках влюбляются по-другому?

Приходит ночь. Я засыпаю в своей постели. Обгоревшее тело впитывает сметану под одеялом, а бессмертная душа на цыпочках выходит из объятого пламенем жилища. С минуту любится обнажённой красотой телесного пожара и штопором ввинчивается в размякшую от неги египетскую ночь.

Здесь, на высоте полёта слепых ласточек, сбжавших из чертога тень, заканчивается видимость. И начинается душезрение.

На диванчике у отеля – русский дедушка. Из тех, кого отправили на отдых заботливые детки. Путевка, как «Комет» для очистки совести: отдал бабки – отправил дедку в Египет – выполнил сыновий или дочерний долг. Застарелая ржавчина редких звонков и невестреч по выходным – растворилась. А дедушка-гипертоник, не в силах отказаться от подаренной чадом путёвки, очень старается быть счастливым. Когда-то, в прошлой жизни, он чувствовал счастье от каждой сотворённой его малышом в детском саду открытки. Они не стоили ни копейки. Но радости приносили в сто раз больше, чем теперь – дорогущие путёвки.

Отчего, старик старается не задумываться. И, чтобы отвлечься, внимательно слушает рыдающего незнакомого парня, который отведал местный гашиш.

– Ну почему так?! – с мольбой глядя дедушке в глаза, мычит молодой телёнок.

Официальный повод пьяной мужской истерики – несовершенство мира, война, которая не стоит детской слезы или очередная Грушенька, инфернальница, что совсем его, проклятая, измучила. Но настоящая причина, как нас учил Фёдор Михайлович, гораздо глубже.

Белым мужчинам на Востоке есть от чего разрыдаться. Они растерянно хлопают глазами, глядя, как сквозь их милых Ев вдруг начинает просвечивать что-то грубое, дозаветное, даже досотворённое. Как, обжигая насмешливым взглядом, они превращаются в строго запрещённых техникой мужской безопасности огнеоких Лилит.

...А ночь лоснится от желания, как масло на коже тёмных арабов. Сегодня новая порция белокожих женщин отбросит остатки приличий, и парадно-выходное бельё затрещит по швам в крепких тёмных руках. Две энергии схлестнутся в любовном поединке и, назло Христу и Мухаммеду, отпразднуют общую победу. Обычные русские бляды, жаждущие больших размеров, и доверчивые синие чулки, что верят словам любви просто из боязни никогда их больше не услышать. Уличные торговцы не берут на себя труд даже запомнить имя. Но, ради приличия, меняют оскорбительную Наташу на чарующее «хабиби». Какая разница, как это выглядит внешне. Важно, что кипит внутри. А там – зелье муже-женского, формулу которого так бездумно подменили гламурной закорючкой инь и ян. Нет, даже в великой Поднебесной не родился ещё мудрец, способный дать человечеству последнее откровение алхимии эроса. А значит, каждый из нас идёт искать самостоятельно. Кто не спрятался, я не виновата...

...Пьяная София в экстазе пляшет вокруг ритуальных костров пылающей плоти. И, расширяясь до бесконечности, чувствует себя частью всего, и всё – своей частью. Плачущие мальчики, запертые в номерах спящие дети, отжигающие на дискотеках мамы и позабытые через секунду клятвы вечной любви – всё это её продолжение, её порождения. И вот сама восточная ночь, где душа была только гостьей, становится ночной стихией, её сердцем и сущностью.

Утром отозвавшееся на оклик будильника сознание, конечно, ничего не расскажет о похождениях души. Как не сохранит и хроника тысяч прожитых во сне жизней...

– Я очень спокойный человек. Но все же хотят «ха-ха», – с какой-то безнадежной насмешкой ты скажешь мне в ночь перед отлётом.

– Что делаешь, когда не хочется «ха-ха»?

– Видела меня сегодня днём? Когда у меня бывает такое настроение, я просто ухожу из магазина и несколько часов сижу один. А если психика совсем закипает, беру отпуск и еду отдыхать...



Сверяю часы. Если бы я пожила твоим ритмом, у меня через два дня отказало бы сердце. Или отключились мозги. «Русский хитрый, русский жадный»... Я – Плюшкин, прячущий сундук с барахлом внутреннего мира подалеже от посторонних глаз, – с ужасом смотрю на тебя, который себя разбазаривает. Не понимаю, как ты живёшь. И люблюсь, как непостижимым Египтом.

Мне нравится ваша страна. В ней нет букв. Но какое разнообразие звуков! В ней мало ума. Но много чувства. В ней нет литературы. Зато есть жизнь.

Пусть это бредни испорченной буквоедством девочки, но кажется, именно книжность – причина заката западной цивилизации. А над вами – солнце счастливого незнания. Вы живёте мгновениями. Мы – веками, нежно лелея в своих головах тараканов всех великих: от Платона до Эльфриды Елинек. Мои попытки взвалить тебе на плечи часть интеллектуального груза (не всё же нам страдать?) с треском проваливаются.

– Надо больше читать, у тебя же потрясающее чувство языка! – голосом русской Мариванны вещаю я.

Ты смущаешься перед умной русской бабой, но твёрдо даешь понять: в гробу видал твои книжки! Поразительное, однако, чувство самосохранения!

– Ты сделаешь мне вызов?

– Посмотрим.

– Даже не хочешь, чтобы я приехал?

– Макс, я хочу, но...

– А у вас есть, что посмотреть?

– Нууу... в соседней области панорама Курской битвы... Прохоровка... Одно из важнейших сражений Второй мировой... Гитлер... – за несколько секунд я конструирую целую поисковую систему, дабы найти отклик в паутине твоего сознания.

Неловкая пауза.

– А у вас рыбалка есть?

– Да, – обалдело отвечаю я.

– Этого будет достаточно! – счастливая улыбка. – Я рыбалку люблю.

– Макс, пожалуйста! Макс, не гони так!

Я вливаюсь в твою руку: внутри всё замирает от восхищения и ужаса. Только здесь понимаешь: русские не любят быстрой езды, потому что просто не знают, что это такое. «О, как самоубийственно мы ездим!» – наверняка переписал бы строчку Тютчев, хоть раз прокатившись в твоём «Шевроле». Если бы, конечно, вышел из него живым. В манере вождения – оправдание нации. Как можно требовать уважения к другим от тех, кому плевать на собственную жизнь?

- Моя семья со мной не ездит! – приободряешь ты.
- О Господи!

Попробуй тут не закричать: прямо перед нами – вдруг вильнувшее с правой полосы такси.

- А вот так ездят придурки! – орёшь ты, одновременно нажимая на сигнал и педаль тормоза.

Но уже через минуту мы снова летим по узкой, напичканной машинами дороге. До аварий – миллиметры. Но, подобно героям нереальных экшенов, выходим невредимыми из каждой предгробовой ситуации.

Сегодня – ночь кинематографа. И, глядя на калейдоскоп вылетающих навстречу планов ночного города, не могу избавиться от ощущения голливудского фильма, хэппи-энд которого давно предсказан.

А потому, чего же бояться?!

- Макс, можно помедленнее? Я ещё нужна родине, меня там ждут, – кокетничаю я.

- Много людей ждут? – глубокий взгляд.

- Много! – делаю вид, будто не замечаю подтекста.

Сказочному принцу хочется, чтобы у принцессы не было других. Но принцесса – та ещё строптивая горячка – желает, чтобы во всех точках земного шара круглосуточно работали приёмные пункты принцев. И чтобы километровая очередь перед каждым!

- Знаешь, я только вчера понял, что ты мне нравишься...

- Ха!

- Что значит «ха»?!

- «Ха» – это... Ну, не знаю... – ошарашена мыслью, что на земном шаре есть мужчины, которым нужно переводить моё коронное «ха». – Наверно, это обида, что ты так поздно понял.

- Понимаешь, каждый месяц я вижу тысячи девушек. А когда чего-то много, к этому привыкаешь. Но потом появляется одна. Утром проснулся – думаешь о ней. А потом ещё днём, и вечером, и утром опять. И чувствуешь: «Блин! Это какая-то фигня!»

Окунаешь меня в мокрый арабский поцелуй. В нем нельзя утонуть. Но запросто можно захлебнуться. Пометка в листке дегустатора: «Настоящий арабский поцелуй, как настоящий арабский кофе, – не моё».

Выходим из кафе. Сажаешь меня в машину. Глядя на подсвеченную фонарями-софитами улицу, ещё острее ощущаю кинематографичность этой ночи. И совсем не удивляюсь, когда к нашей машине подбегает ангел. Он маленький, в белой, как и полагается ангелу, рубашке. Тебе по пояс, словно обычный ребёнок. Но от его детской улыбки исходит такой свет, что сомнений не остаётся: это ангел, на-



девший костюм арабского мальчишки. Нет-нет, о том, что это настоящий арабский мальчишка, не может быть и речи! У ваших мальчишек не бывает таких лиц. Они деловые, расчётливые. Каждый взгляд – выстрел в цель. Бинго! Бинго! Чёрт, промахнулся! Йес! И снова мимо! А этот восторженно смотрит на улицу, будто поёт про себя осанну.

Ты подходишь к ангелу. Он глядит на тебя с обожанием. Вы говорите по-арабски. А может быть, на каком-то своём, небесном наречии. Сначала ты напоминаешь мне Остапа Бендера, решившего поболтать с одним из своих беспризорников. А потом – архангела, который пришёл проведать невинную душу, что сегодня первый день, как поступила на службу к Всевышнему.

Наверно, для первого раза ты давал ему какое-нибудь совсем лёгкое поручение – послать всем добрым детям сказочные сны, подарить покой тем, у кого за стенкой дерутся алкоголики-родители, и утешить бедняг, которым не могут купить даже самую дешёвую игрушку. Судя по твоему довольному лицу, маленький ангел справился с задачей. Поэтому на земле сейчас полный покой. Ни одна детская слеза не каплет на подушку, никто не молится, прося Бога, чтобы мама и папа не развелись, а в школе не травили одноклассники. В награду за отлично сделанную работу ты разрешаешь ему самому послушать сказку у чьей-нибудь постели. И кладёшь в руку монетку: ангелы ведь тоже любят мороженое.

Возвращаешься ко мне. Я давно не видела ни у кого такого преисполненного благоговением, такого восторженно-умилённого лица:

– Представляешь, ему всего шесть лет! А он уже моет машины!

Ты отчаянно борешься с нищетой. По здешним меркам, неплохо живёшь и, кажется, уже выбрался из неё навсегда. Но страх перед бедностью у тебя в крови. Всю жизнь будешь убегать от неё, старухи с косою. Да, у нас так рисуют смерть. А здесь смерть совсем другая: загорелая дородная дама приходит, весело подмигивая: «Ну что, хабиби, собирайся!» Во время своих безумных гонок, в ночных драках по пустыкам или разборках из-за бабла – вы уже привыкли к поддельному звону её монист. В конце концов, со смертью можно сторговаться – вам не привыкать. А вот бедность, старуха с косою, неумолима. Оттого страхом перед ней пропитано всё. Даже в твоём элитном доме, где подъезд с вахтёром, удивительная, нищенская грязь, словно прихваченная с собой как напоминание о жизни в трущобах. В подъезде – ужасная вонь. Внезапный прилив национальной гордости: в наших подъездах пахнет кошками. В ваших – людьми.

– А теперь я покажу тебе балкон!

Не слово, но интонация берёт в плен моё внимание. По тому, как ты говоришь, чувствую: балкон – цель и смысл этой квартиры. Центр

твоей двухкомнатной вселенной.

– С видом на море, – с хвастливой торжественностью добавляешь ты, распахивая дверь.

В нос бьёт запах мочи и помоев. Напротив – соседняя многоэтажка. «Шоу за стеклом». Совсем как у меня в России!

– Макс, а где море?! – чуть не плачу я.

– Нельзя уже пометчать?

Как хорошо, что в комнате темно. Детская беззащитность этой фразы не выдержала бы яркого света. Сердце потихоньку сбивается с ритма. В горле – сгусток нежности и жалости.

Шероховатые ладони с крошечными сухими буторками – твоими руками ко мне прикасается паника. Я знаю, что через пару часов вынырну из этой ночи. А пока, как дайвер Лукьяненко, шепчу про себя: «Глубина, глубина, я не твой». Граница нашего водораздела – заветная черта близости людей, открытая Ахматовой. Главное не переступить её, не наобещать лишнего, не делать того, чего не одобрила бы моя мама.

Макс, ты же инструктор по дайвингу. Я не выдерживаю такого давления. Макс, Макс, подожди....

Ты вспоминаешь о своей девушке. Той, с которой прожил три года.

– Так смешно жили! Она ку-ку, и я ку-ку. Прихожу домой, а она бегаёт, собирает вещи:

– Мы едем отдыхать!

– Куда отдыхать? Мне завтра на работу!

Но собирались и ехали.

Нежный, набегающий ласковыми волнами голос. В нём играют разноцветные рыбки нежности, любви, теплоты.

– Макс, ну ты же до сих пор её любишь!

– Нет, с ней всё! – отрезаешь ты. – Мне нужен другой человек.

И для этого человека я сделаю что угодно. Но его надо найти. И я знаю, что это точно будет не египтянка. Я их ненавижу. А тебе повезло! Ты встретила сумасшедшего, который найдёт тебя, даже если будешь жить в Китае!

– Макс...

– Тихо! Больше ничего! Мне нравится, как ты говоришь «Макс»...

– Why?

На этот лаконичный мужской вопрос я отвечаю невоспроизводимым монологом девушки с претензией на философский склад ума. Теги: «физиология», «мораль», «невозможно объяснить». Ты



долго слушаешь, а потом выдаёшь на безупречном русском:

– То есть как женщина ты хотела, но мозг тебе помешал?

И видя мои изумлённые глаза, резюмируешь:

– По-моему, тебе его просто не так положили.

– Учись расслабляться, хабиби. Здесь ты отдыхаешь, тебя никто не знает. А там – реальность: люди, работа, проблемы.

Ты, как всегда, прав. Я сижу в аэропорту с розой «для самой красивой девушки в Хургада». И с грустью думаю о том, что уже завтра меня затянет русский бублик – огромная чёрная дыра обиденности. Десятки километров по замкнутому кругу предвкушений, встреч, расставаний, забот, разочарований... В ожидании очередного отпуска, когда я соберусь в Италию. И снова поеду в Египет.

Для чего я сюда приезжаю? Официальная версия – восстановить силы. Но истинная причина, как ты, надеюсь, запомнил, по Достоевскому. То есть гораздо сложнее и глубже. Что-то происходит с нами в этих других мирах, куда мы мчимся, словно мотыльки на огонь, в надежде пережить неповторимое. То, что ломает рамки пресного бублика. В этот отпуск со мной случился ты. А с тобой случилась я. Вот и здорово! Ведь когда с человеком случается человек – это уже сказка.

А тебя-то при всей изворотливости всё-таки не миновала чаша литературного героя! Подумал о моём свежеиспечённом «Бублике»? Нет, хабиби, ты забыл: в России обо всём написано задолго и надолго вперёд. И, открыв дома томик Цветаевой, мы с тобой узнаем самое важное: «Макс был не только действующим лицом, но и местом действия сказки...»

А посему прощай, мой лукавый в мелочах, но искренний в главном, щедрый на ласки и жадный до денег Египет! Когда-нибудь, возможно, я снова посмотрю в твои смеющиеся глаза и прочту...

Нет, лучше – услышу.

Алексей Салов



№2 2011

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ КГУ

Качубари

Сериял в прозе с единственной иллюстрацией и функцией отрывного календаря

Маленькой девочке внутри тебя...

«Великий Качубари»: первая серия

/январь/

Это началось в ту пору, когда мой рост составлял 186 сантиметров и я шагал по жизни, широко распахнув пальто и жмурясь от снега и солнца.

Я вышел в огромный мир из университетских кругов и, сидя за столиком в каком-нибудь новомодном общепите, продолжал пролистывать не дочитанного на пятом курсе Фицджеральда. Я был уверен во многом, но действительность, которую пойманная недавно «чикагская семёрка» поименовала «суровой», день за днём расшатывала основы моих представлений. По крайней мере, я не терял надежды, продолжал дичиться битком забитого транспорта, килограммами поедал хурму, обожая, главным образом, само название, и выращивал на обшарпанном подоконнике своей академической квартиры милый моему сердцу *Asparagus densiflorus sprengery*. При встрече со старыми друзьями, которых не видел «сто лет», я представлялся личным секретарём волшебника из Аракатаки; молоденьким девушкам врал, что я американский военный моряк, и они верили, честное слово, слишком уж правдоподобно я распевал «Пойдём-ка выйдем, отольём на “Фор-рестол”» – песенку из книжки Томаса Пинчона про негодные мысли подвыпившей матросни. Случайным знакомым без-гроша-за-душой и дурно пахнущей фигой в кармане я рекомендовал себя бодхисатвой и смело, хотя и несколько заплетаясь, развенчивал гнилые девизы рэпера Фифтисэнта.

Живя с сотней масок на все случаи жизни, я слепо верил в очищающую силу плаката, висевшего поверх старых обоев в моей академической кухне и гласившего на чистой латыни «O rus! Quando ego te aspiciam!», что значит «O деревня! Когда я тебя увижу!», хотя некогда гостивший (скрывавшийся) у меня профессор-филолог из Конголезского института национальных меньшинств, печально известный тем, что застрелил в аудитории студента-зубрильщика, и одинаково виртуозно владевший латынью и русским, настаивал на неточном, зато вполне поэтичном варианте: «O, Русь! Когда я на тебя воззрюсь!»

Впрочем, всё это не имеет никакого отношения к сути истории.

Однажды, на снежном излёте января, мне позвонил Чад Хёрли и голосом, полным священного ужаса, пророкотал:

– Сенсация! Ролик с Качубари взорвал «трубу», почти миллионов просмотров в сутки! («Сколько-сколько?» – уточняет читатель с острым, как ятаган, глазом).

Что можно было ответить на это? Я вежливо посоветовал Чаду помнить о разнице часовых поясов и в следующую секунду уже мирно похрапывал.

Наутро, выпив традиционный стаканчик портвейна и выгуляв таксу по кличке Трамвайчик, хозяева которой отбывали пожизненное заключение за Ограбление Века, я вернулся домой – к священным корням безделья. Ближе к вечеру мне позвонил бывший одноклассник Павлик Д., и, заподозрив невероятное совпадение, я опередил его вопросом о Качубари.

– Да что б тебя! – опечалился Павлик.

Тогда я признался, что «Качубари» звучит для меня пока таинственнее иврита, и повеселевший приятель пустился в разъяснения. Начал он туманно и настолько издалека, что мне почудилась скрытая реклама очередных «нововведений января», а потом произошла совсем уж обидная штука: контакт с Павликом был потерян, потому что он бессовестно вышел в минус, и нас разъединили.

Пощатываясь (стаканчик портвейна), я добрался до кухни, со священным трепетом поклонился плакату, взял из холодильника йогурт и собрался уже съесть его, одновременно тупея перед экраном, однако с улицы закричали:

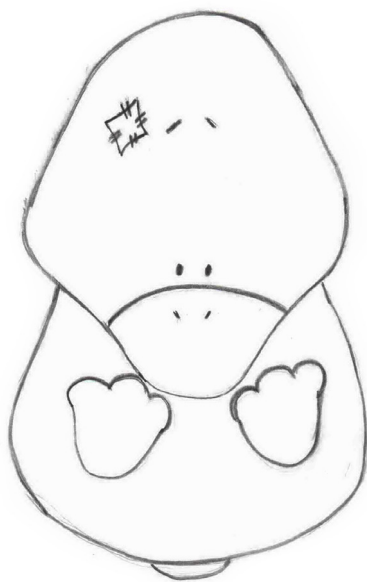
– Качубари! Качубари! – и я решил одеться и выяснить, наконец, что происходит в мире.

...Неровно подсвеченная фонарями, петляя и теряясь во мраке двора, шумно ползла мне навстречу многоногая гусеница толпы, укрытая огромным полотнищем с лозунгом: «Качубари – больше, чем утёнок!» Под сим туманным суждением был изображён, собственно, герой дня – чёрно-белый утёнок премоной наружности, которого, как вещал в дырявое мегафон-ведро оголтелый карлик, нарисовала простым карандашом неизвестная девушка из деревни Камыши («O rus! Quando ego te aspiciam!»), после чего сняла свой рисунок* на мобильный телефон и выложила этот будущий хит

* [25 кадр]: воспроизводить в первой серии этот ныне самый известный в мире карандашный рисунок – всё равно что упоминать «Эппл», аккуратно надкусывая яблоко. На момент описываемых событий, однако, водоворот славы малыша Качубари успел поглотить далеко не каждого, так что помещаемая ниже иллюстрация носит характер ностальгический и, хотя с позиции здравого смысла выглядит излишней, может, в конечном итоге, оказаться единственным официально утверждённым кадром сериала, ибо в остальном автор полагается на индивидуальные фантазии – продукт весьма зыбкого и крайне субъективного свойства.

сети в дебрях Рунета, откуда он перекочевал во все популярные странички всемирной паутины («Паутины!» – поправляет меня читатель с ятаганным, как Остер, глазом).

Поздним вечером невероятного понедельника, уставший и вконец разбитый, лёжа в тёплой академической постели и посасывая самбуку, я предавался воспоминаниям о скромных мгновениях моего кабардино-балкарского детства, перочинных ножиках, воткнутых в разогретый песок, носатых товарищах моих нехитрых игр и медленно погружался в сон. И мне приснился великий дуэт: Гэтсби, гребущий в утлом судёнышке против течения, и славный пират Качубари, грузно оседлавший корму, воззрившийся сквозь океанский простор на далёкие берега, жаждущие покорения, на плюшевый ад забвения, в который сходили в отчаянии Пикачу, Микки Маус и сам медвежонок Тедди...



**«Отцы и дети. И Качубари»: вторая серия
/февраль/**

Он просыпается в нестиранной пижаме и одном носке, солнце по касательной падает в комнату средних размеров, тонкая полоска света пересекает широкий загорелый лоб и застывает на вулканически

вздувшейся шишке. Очевидно, он ударился во сне, испуганный размерами катастрофы: показалось, что отец раньше времени вернулся из командировки и открыл дверь главного кабинета рекламной фирмы «Тоска по Тургеневу», временно передоверенной Аркадию Кириллову-младшему, носком начищенного ботинка.

В этот момент Аркадий Кириллов-старший, владелец означенной фирмы, действительно возвращается в пугающий холод столицы в приподнятом настроении по случаю одной махинации, двух женщин и виски с содовой в мчащемся по асфальту подмосковной ДТП (допотопной трассы правонарушителей) серебристом <реклама изъята>. Последним, что он успевает произнести в адрес картавого водителя по имени Валера, прежде чем повествование сворачивает обратно к Аркадию-младшему, оказывается непечатное слово.

Аркадий-младший, пришедший в себя и обнаруживший, что географически он продолжает пребывать в Париже, в комнате своей любвеобильной подружки Катрин де Мюссе, пока подсознание его, безусловно, диктующее содержание снов, рвётся в кожаное кресло гендиректора «Тоски по Тургеневу», лежит, посасывая мятный леденец, на деревянном полу.

В то время, когда Нкемдилем, чёрный, как джаботикаба, клянчит монетку в сердце вонючих трущоб Кисангани у заплутавшего здесь бог весть как белокурого и бледнолицего русского, серебристый <реклама изъята> паркуется, чмокнув поребрик, и Аркадий Кириллов-старший, ругнувшись повторно, отправляется в офис «Тоски по Тургеневу», искренне рассчитывая застать там сына, который, ощущая в этот момент странный внутренний позыв, сумбурно шарит по полу свободной правой рукой (левая путешествует под кроватью, где вполне может оказаться утерянный носок), нащупывает мобильный телефон и набирает номер гневливого родича.

Пока Аркадий-старший открывает рот, чтобы уточнить, верно ли он понял причину отсутствия на работе своего сына (секретарь, взмахнув ресницами, доложила, что Аркадий Аркадьевич «не работали все дни-с по причине парижской тяги»), и, скорее всего, в очередной раз рискует произнести что-нибудь непечатное, а белокурый и бледнолицый Владимир Бесчастных остаётся без кошелька под удушливым небом Конго, Аркадий Кириллов-младший путём двойной ошибки при наборе дозванивается сопливному хакеру из Капотни по кличке Седой Хлип, которого только что выбросили на улицу ввиду его маниакального увлечения неким утёнком. Следующие два с половиной часа, пока Седой Хлип отчаянно исповедается, Аркадий-младший успевает стать вторым на планете ходячим складом всевозможной информации о покорителе Интернета.



– Качубари, – молитвенно шепчет будущий владелец «Тоски по Тургеневу» после того, как Седой Хлип выдыхается и вешает трубку, – Качубари...

Спустя двое суток, в течение которых Аркадий-младший отчаянно хамит Катрине, чтобы с чистой совестью быть спущенным с лестницы и, вылетев из подъезда, а потом и чартерным рейсом Париж – Москва, возвратиться на родину, это слово, облекшись в некий туманный замысел, не спасает его от прямого удара в челюсть, но сохраняет драгоценную жизнь и даже возносит на некоторое время на вершину рекламного олимпа.

«В ожидании Качубари»: третья серия **/март/**

В амбаре, где они сидели, по-турецки скрестив ноги на грубо сколоченных ящиках и попыхивая «Лаки Страйком», пахло свежим дерьмом, дешёвым виски и духами девицы, которая приносила им воду и наскоро приготовленные бутерброды, – вульгарный аромат неопрятной толстухи с кривыми зубами и туловищем носорога. Один из них, по имени Хесус, самый безобразный на вид, с порванным ухом и шрамом на подбородке, приподнялся, хрустнув суставами, и смачно плюнул в покрытую мраком тишину амбара.

– Сядь! – приказал из угла седой боевик-колумбиец.

– Аракатака! – взвыл Хесус, задвигавшись в ритмах мопале и напевая только что сочинённую загадку:

Три часа торчать в амбаре,

Нюхать гадкий запахок

Согласился я, дружок,

Только ради...?

Никто не продолжил, и Хесус, бросив плясать, плюнул повторно и взгромоздился на ящик. Суставы хрустнули, потом всё смолкло.

В это время индеец Острое Слово из племени ирокезов в десятый раз перечитывал отрывок из пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Первые пять попыток он честно предпринял, чтобы разгадать смысл написанного, вторые – ибо проникся, как ему показалось, совершенной музыкой французского языка. Острое Слово работал на ЦРУ с 1991 года: его завербовали на Мальдивах, куда он отправился в медовое, но отнюдь не свадебное путешествие со своей разбитой подружкой Люсеттой. Оба они были родом из пропахшей рыбой деревушки («O rus! Quando ego te aspiciam!») на задворках сто лет назад освоенного фронта и просто хотели поглядеть мир и как-нибудь оттянуться. Индеец работал ди-джемем на местной радиостанции «Дыра»,

Люсетта коллекционировала туфельки сорок шестого размера и в остальное время бездельничала.

В пухлое досье серых кардиналов ЦРУ Острое Слово угодил, главным образом, по двум причинам. Во-первых, в 1974 году его придурковатый и полуглухой предок покусился на твердыню американской демократии, прилюдно заставив своего маленького сына «отлить на фюрера», которого он вполне правдоподобно вырезал из деревянной болванки. «Фюрером» оказался, разумеется, тридцать седьмой президент США Ричард Никсон: так аукнулась ему вьетнамская душегубка. Второй причиной послужила редкая склонность Острого Слова к овладению языками. На тот момент его знания ограничивались, собственно, ирокезскими диалектами северной и южной ветви, американским вариантом английского, британским вариантом английского (включая матерщину лондонских докеров и прочих чокнутых кокни), палайским, андийским, согдийским, лидийским, кумбрийским, фламандским, фарерским, понтийским, полабским, валлонским, фриульским, русинским и русским, а также латынью, да будет благословенна латынь! Имевшиеся объёмы вполне устроили ЦРУ, и Острое Слово завербовали в качестве переводчика, лишив его, таким образом, всех прелестей Мальдив и Люсетты.

В пустом кабинете, где за отсутствием всякой мебели, кроме складного стула для Острого Слова и маленькой табуретки с писклявым передатчиком, гуляло эхо от перелистываемых страниц, ворвался секретный агент ЦРУ Том Левербек-младший и голосом утёнка Дональда возопил:

– Индеец, немедленно переведи, что там пел этот чёртов Хесус!

В ответ Острое Слово икнул и, встретившись глазами с секретным агентом, показал ему свой змееподобный, пепельного цвета язык. Том Левербек-младший поёжился, но повторил приказ, предварительно отступив к дверному проёму.

Индеец, наскоро откопав талант гипнотизёра, скривил гадкую рожу и завращал глазами. Том Левербек-младший тотчас обмяк, застыв, как лунатик на парапете. Тогда Острое Слово припомнил «Книгу джунглей», которую прислала ему в подарок на День рождения ярая фанатка радиостанции «Дыра» и Ку-Клукс-Клана. Воспоминание всё испортило: ухмыльнувшись, индеец пророкотал:

– Том, да ты, чёрт возьми, похож на бандерлога!

Чары растаяли. Секретный агент Том Левербек-младший покраснел, выплюнул ругательство и выскочил из кабинета. В свою очередь, Острое Слово, отложив томик Беккета, выключил передатчик и, представляя Люсетту обнажённой, радостно захрапел.



В ту же секунду, когда на индейца снизошёл благодатный сон, шестеро вооружённых мужчин в тёмном амбаре услышали подъезжающий грузовик. (Седьмым числился Хесус, но он остался сидеть и даже слегка завалился набок, ибо попросту и беспричинно скончался). Дверь амбара скрипнула и отворилась. В свете фонаря, подвешенного с внешней стороны к проеденной термитами балке, боевики разглядели знакомую фигуру Пончито, мексиканского наркоторговца, человека-который-мог-достать-всё-что-угодно.

– Привёз? – угрюмо поинтересовался из мрака главарь, и секретный агент ЦРУ Том Левербек-старший, сидевший в этот момент в засаде в ста пятидесяти ярдах от амбара, с наушником от прослушки и группой захвата, маскировавшейся под кусты, столь же угрюмо определил:

– Это сказал Хосе де ла Конкордиа Габо Гарсиа.

– Аракатака! – отозвались «кусты».

– Сначала деньги, братья, потом товар! – расплылся в улыбке Пончито, но тотчас пожалел о сказанном, ибо вышло, на его вкус, пошловато, а наркодилер, с детства приученный младшей сестрой, затерявшейся теперь где-то в Америке, к прозе Ивана Тургенева, привык изъясняться изящно.

Впоследствии, согласно сценарию, состоялся шаблонный акт купли-продажи, сопровождаемый активным позвякиванием (оплачивая чудовищную сумму, боевики щедро ссыпали Пончито серебряную мелочь). Сквозь монетное крещендо никто не различил глухой удар и продолжительный хруст: это мёртвое тело Хесуса свалилось с ящика и придавило тарантула – возликуй Юлий Цезарь! – ибо и вправду лучше сразу отдать концы, чем маяться ожиданием. В качестве пряной добавки к действию послужил влетевший в амбар синюшный и до смерти напуганный хряк, которого резать хотела девица, которая даже ножа не стыдится, который в ужасной халупе хранится, которую выстроил Джек – девице родной человек.

Покончив со сделкой, сантиментами и Пончито, у которого были отобраны жизнь и карманный фонарик, колумбийские боевики, жадно пыхтя, уселись среди амбара вокруг чемоданчика с грузом. Двенадцать радикальных рук вцепились в крышку, и вскоре она была сорвана. В ту же секунду, услышав в наушниках раскатистое «ooo», изданное боевиками, секретный агент ЦРУ Том Левербек-старший отдал команду «на штурм», и вислозадый спецназ весело затрусил к отворённой двери амбара. При этом какой-то умник, безавший быстрее всех, заверещал во всю глотку армейскую строевую про ляжки всех Пенелоп, от одиссеевой до Крус, но добрался лишь до второго куплета, когда споткнулся о несущегося из амбара хряка и кубарем покатился на свет фонарика. Глазам его предстала идиллическая картина с шестью небритыми ко-

лумбийцами, молитвенно склонившимися над плюшевым утёнком, только что поднятым из недр чемоданчика.

– Да ведь это Качубари! – воскликнет мой постоянный читатель. И окажется прав.

**«Рвущий сердце труд потрясающий – Качубари!»: четвёртая серия
/апрель/**

Над фронтоном пустующей церкви пронесится астероид...

Конечно, он врежется в землю, и некто Уиллис не успеет скоротать дворняге растаявший мармелад, знойная бегунья в белых шортах и майке в обтяжку, дважды мотнув головой, не двинется на зелёный знак светофора; глухой ногтегрыз Бенафлек в ближайшем дурдоме не спустит в канализацию самодельный кораблик; ветер не перевернёт скучные страницы из Дейва Эггерса, что я безропотно преодолеваю, желая угодить своему пасынку – странноватому типу, из которого прежний папаша выбил желание становиться мужчиной; босая кроха не ошпарит ножку на разогретых ступенях, и вялая нянечка не усадит её, солёную от слёз, под заботливый козырёк коляски – подальше от палящего солнца и собственного безразличия. Сквозь беспорядок этих сомнительных перспектив я отыскиваю ловкое продолжение.

...До того, как случится неизбежное, лысеющий писатель N., променявший живые строки на электронный хаос; сладострастные стоны девочек, которых он вносил в свой донжуанский список, что было, разумеется, нечестно: этим грешницам приходилось платить, – на редкие записи в закрытом форуме извращенцев, этот во всех отношениях испорченный человек, не лишённый, однако, странноватого юмора и не до конца растративший писательский гений, этот потеющий господин в сорочке от Альберто Джигани и дешёвых джинсах из лавочки миссис Путс («Носили четверо – стань пятым»), поморщится, представляя, как планета сгорит и свернётся в огне пепельным цветком его вчерашнее озарение. Прикинув на глаз, что астероид врежется в землю быстрее, чем он успеет обстоятельно выругаться, N. провожает его неприличным жестом и, довольный собой, хрюкает от удовольствия.

Ключок из блокнота, на котором выведены его мясистой рукой последние вдохновенные строки, покоится в нагрудном кармане. Короткая версия того, как рождался карандашный набросок утёнка Качубари, бескрыло взлетевшего на вершины мира, уже срезанные мчащимся астероидом. Случилось событие, у которого не было свидетелей, кроме Творца, – N. сочинил себя согладатаем...



В пустующей церкви гуляет сквозняк, шевеля страницы из Дейва Эггерса; некто Уиллис испуганно озирается: разъярённый хозяин дворняги, пропадавший неизвестно где, бомбардирует его метеорной бранью; рыжеволосая бегунья, не глядя на светофор, пересекает дорогу, благодарно кивнув тормознувшим; глухой ногтегрыз Бенафлек так сильно дёргает за слив, что обрывает верёвочку и, воровато озираясь, вытаскивает свой кораблик; мой дорогой приёммыш оказывается Спайдерменом; и кроха, падая на мягкую попку, заходится от восторга – нянечке не нужно спешить.

Понедельник. Полдень. Пляшущие персонажи. Развёрнутый силой воображения клочок из блокнота – несколько слов на тему, как явился к нам из русских просторов волнующий мессия на перепончатых лапах и с заплатой на голове...

«Растворённое счастье в каждом твоём наброске, под мягким светом торшера, однажды поздним вечером, далеко-далеко. Этот рисунок, заточенные, как иглы, карандаши – твоя империя, предмет будущей зависти и обожания. У края стола, где ты стоишь, закусив розовый ноготь, роятся, распугивая диснеевский мир, новые чудеса, и скорый поезд «Perfectio», привёзший тебе сквозь влажные сумерки задумчивого утёнка, торжественно гудит в тишине маленькой комнаты четыре леденцовых слога: Ка-чу-ба-ри...»

Конечно, он не врзается...

«Превращение в Качубари»: пятая серия

/май/

С того места, откуда они наблюдали, танцующие круги на Олбанипонд напоминали лассо, и Перри, мечтающий стать ковбоем, довольно кивнул. Икающий мальчик, который всякий раз увязывался за ними, подобрал булжжик, подражая Дику Чемпиону, хитро прищурился и с размаху пустил его по воде.

Здесь нужно сделать паузу и оговориться: судьбе было угодно, чтобы в 1977 году в костромской деревне Красный слон («O rus! Quando ego te aspiciam!») родился шестикилограммовый малыш, которого счастливые родители нарекли Тимофеем. Спустя тринадцать лет, когда имело смысл искать потерянный рай и настойчиво прощупывать с этой целью манящие земли за границы, Тимофей Сопелкин (прозорливо переименованный в Тима Сопа) впервые пошёл в школу прелестного городка Олбани, штат Нью-Йорк, ещё не вполне осознавая, как фанатичная преданность далёкой родине уживётся в нём с мрачной любовью к фаст-фуду и тыквам на Хэллоуин. В 2002 году, в тот самое время, когда сборная России по футболу потерпела унижительное поражение от Японии, а престарелая Элеонора Макдак забыла выключить

чить уют, в результате чего пополнила ряды американских нищих, ибо страховку съело трёхмесячное пребывание в дурдоме, слегка расплывший Тим Соп впервые погрузился с аквалангом на дно олбанского пруда, желая разыскать там утонувшие трусики своей подружки Мириэм Табако.

Наконец, майским утром 2011-го, когда происходили описываемые события, Тим Соп повторно погружался в душные воды Олбани-понд, на этот раз рассчитывая пожить в непочатой бутылкой пива, которую Мириэм (намедни услышавшая от него твёрдое «нет») выбросила в припадке трогательного отчаяния. В тот самый момент, когда голова Тима Сопы оказалась над водой, булыжник, пущенный икающим мальчиком, весело поскакал в его сторону. Спустя секунды послышался глухой «чпок», и подбитый аквалангист лёг на дно вечности, как Жак-Ив Кусто в знойном Париже четырнадцать лет назад. Дик Чемпион, с ехидцей наблюдавший за попыткой мальчугана повторить его знаменитый «Иисусов подвиг камешка», поперхнулся шипучкой и схватился за горло, отчаянно тараща глаза в направлении скрывшегося под водой незнакомца. Перри, всё ещё пребывающий в романтических грёзах относительно своего ковбойского будущего, не сразу понял, что произошло, пока Дик ни справился с кашлем и восторженно ни возопил:

– Хладнокровное убийство!

Очевидно, это было как-то связано с икающим мальчиком, которого давно и след простыл, но Перри, пропустивший собственно момент преступления, лишь виновато развёл руками и глуповато хмыкнул.

На следующий день грузное тело, служившее некогда советскому пионеру Сопелкину, извлекли из пруда под одобрительные возгласы сумасшедшего, безвредного *terrae filius*, живущего неподалеку в соломенной хижине с кусачим терьером по кличке Торо и радугой навязчивых галлюцинаций. Прибывший на место детектив Хукер, простоволосый господин в твидовом пиджаке с весёлым значком на лацкане, подмигнул сумасшедшему и даже разделил с ним свой нехитрый завтрак: ароматный пончик, посыпанный сахарной пудрой, и стаканчик эспрессо – после чего констатировал смерть горе аквалангиста от прямого попадания в лобную долю тупого предмета природного происхождения. Мириэм Табако, безутешно рыдавшую чуть поодаль, допустили к телу, дабы удостовериться личность погибшего, и после её утвердительного кивка жизненную эпопею Тима Сопы можно было считать завершённой.

В течение следующей недели на поверхность полицейского от-



чѐта всплыл примечательный факт: страничка икающего мальчика в социальной сети пестрила неприятным разнообразием ссылок на сомнительные сайты колумбийских радикалов. Нищая Элеонора Макдак, приходящаяся бабушкой Марлону Уисби – хмурому сотруднику олбанской полиции, или, если быть точным, представителю технического персонала этой организации, проще говоря, уборщику-негру, с вялыми замашками кутилы и прыщиком на носу, который он совал во все официальные бумаги, поспешила предупредить икающего мальчика о готовящейся на его дом облаве, что и было проделано ею в понедельник, девятого мая, в шифрованной записке, приклеенной к камешку, аналогом которого был убит Тим Соп, и брошенной в окно первого этажа.

Икающий мальчик, убрав с пола осколки и внимательно изучив записку, не смог, однако, подобрать ключ к загадочному шифру, отчего страх перед грядущим разросся в нём до грандиозных размеров. Вскрабавшись на постель, которую он почти не покидал с того момента, как примчался с Олбани-понд и коротко описал родителям сложившуюся ситуацию, икающий мальчик вытащил из-под подушки томик Франца Кафки и принялся жадно вчитываться в «Превращение». Прошло около получаса, прежде чем внутренняя дрожь улеглась и отступивший на время страх приоткрыл мальчику туманные перспективы, подсказанные ему со страниц повести мистическим пражским евреем. Икающий мальчик твёрдо вознамерился превратиться в кого-нибудь, что, безусловно, вознесло бы его над пучиной уголовного кодекса, который он имел неосторожность нарушить. Под колпаком этих блаженных соображений икающий мальчик погрузился в глубокий сон и совершенно не пострадал в результате ночного полицейского штурма.

Оказавшись таким образом в камере и немедленно потребовал адвоката, томик Кафки и клубничное мороженое, а также полный отчёт об участии своего имущества, в первую очередь, плаката с Владимиром Бесчастных, чей удар в 2002 году мог бы принести сборной России ничью с Японией, если бы не обернулся конфузом, икающий мальчик решил стойко снести все удары судьбы, втайне представив фейерверк обожания, который последует за его арестом в среде отъявленных олбанских хулиганов. Под вечер, съев мороженое и дочитав Кафку, а также переговорив с адвокатом, который мудро посоветовал предъявить полицейским шифрованную записку, икающий мальчик с удовольствием представил, как Дик Чемпион (сам Дик Чемпион!) пожмёт ему руку и наградит полным восхищения дружеским подзатыльником.

Прежде чем уснуть, мальчик чистосердечно признался детективу Хукеру, что плохо помнит рассказы Конан Дойла и не может расшифровать записку, которую запустила в окно его дома «эта чудесная миссис Макдак». Впрочем, достучаться до смысла её марширующих, как

на параде, человечков не смогли даже лучшие и секретные (включая специально выписанного из Лэнгли индейца-полиглота Острое Слово), а это выглядело грехом посущественнее, нежели ссылки на какие бы то ни было сайты. Не откладывая в долгий ящик, Элеонору Макдак разыскали, задержали и поместили в просторную одиночную камеру, обеспечив её тем самым долгожданной крышей над головой.

...В завершение пятой серии мы обнаруживаем босоногого Перри, который лежит на спине, слушая новостной выпуск нью-йоркского радио. Закатный свет отражается в водах Олбани-понд, и лёгкий ветер – почему нет – шевелит рыжие кудри подростка. Перри дожидается, пока его отец, уже знакомый нам как детектив Хукер, выйдет из воды, чтобы возвестить ему шокирующее известие: десять минут назад на центральный полицейский участок Олбани совершено дерзкое нападение. Шесть человек, переодетых в костюмы всемирно известного утёнка Качубари, связали полицейских, разрезали автогеном решётку, за которой мирно посапывал икающий мальчик, и унесли его на руках, судя по всему, даже не разбудив.

– Вот так-так... – мгновенно вспотел детектив. Затем, боязливо оглядевшись и не заметив поблизости никого, кроме сумасшедшего, подсматривающего за ним из-за кустов, деловито приложил палец к губам и добавил:

– Перри, сынок, ты ничего не видел, okay?

Сказав это, он поднял твидовый пиджак, отцепил от лацкана значок с надписью «Качубари – больше, чем утёнок!» и швырнул его в покрасневшие воды олбанского пруда. Раздался характерный «чпок», и повеселевший детектив, хлопнув себя по ляжкам, затянул «Я грызу вчерашний бублик» – подзабытый хит времён Великой депрессии.

Спустя мгновение отец с сыном уже бодро шагали, удаляясь от пляжа, и скоро пропали из вида...

«Маятник Качубари»: шестая серия

/июнь/

Я расскажу всё, как было, а там уж вы сами решайте, верить мне или нет. Останусь инкогнито, хотя в любой купчей, где значится Александрия, имя моё легко обнаружить, ибо я вот уже тридцать лет бессменный староста этой деревни. Я вырос не здесь, приехал когда-то из засушливой Гвадалахары, и, как все мексиканцы, по-прежнему усат и плутов (тут вы, конечно, улыбнулись, представляя меня эдаким выжившим из ума старикашкой, контужен-



ным странными стереотипами). Да спросите хотя бы моего сынишку Пончито, спросите, коли разыщете, плутлив и усат ли его старый отец, и дайте мне знать, где скрывается этот ветреный mamarracho! Но довольно. Теперь я хватаю за горло самую суть.

В январе нынешнего года мы получили странное письмо с единственной фразой, размашисто оседлавшей весь лист и гласившей: «O rus! Quando ego te aspiciam!» Ещё там была странная подпись («некий филолог»), а на конверте значился – нет, не обратный адрес, а номер банковского счёта. Мы долго гадали над этой туманной фразой, до первых летних дождей – ну да, так и есть, потому что, пока воды небесные заливали Алессандрию, я погрузился во всемирную паутину, ибо, слава всевышнему, наконец, у нас (если быть точным – у меня одного) провели Интернет. Пока одна из наших доярок – о том мне известно доподлинно – блуждала с пеной у рта по лабиринтам разврата, я выяснил, что присланная нам фраза писана на латыни и означает «О, деревня! Когда я тебя увижу!» И хотя походила она более на риторическое восклицание, о чём я также узнал на полезных ресурсах, мне слышался в ней вопрос несчастного человека, возжаждавшего, но не могущего взглянуть на наш живописный край. Что ж, мы собрали деньги и выслали на указанный счёт, и через неделю – пожалуйста, к нам приехал «некий филолог», оказавшийся чёрным, как смоль, господином с наружностью затравленного профессора. Он искусно говорил на латыни, и селяне мои как-то сразу прониклись странною близостью в звучании сего редкого ныне наречия и родного им итальянского. Мы прозвали чёрного филолога дядюшка Эко, потому как был он, думаю я теперь, и вправду звучным эхом далёких цивилизаций и знаний, чем несказанно воодушевлял не слишком читающих взрослых, невежественных ребяташек и возбуждённую вечно доярку по имени Роза.

Мы все его полюбили, но только однажды – верно, не в добрый час – наткнулся я в Интернете на форум деревенских старост, обсуждавших странные письма, которые они получили (saramba!) в январе этого года с единственной фразой на весь лист и подписью «некий филолог!» Тогда-то я и понял, что дядюшка Эко делал рассылку, не столь уж пылая страстью к Алессандрии – нет, скорее он просто искал любовь из земных юдолей, где обогреют и предоставят временный кров его партизанской душе. Я вызвал дядюшку Эко к барьеру и выяснил печальное прошлое этого человека, действительно оказавшегося профессором филологии, случайно запятнавшим себя тяжким грехом на родине и ранее скрывавшимся в далёкой России (при упоминании о ней он всплакнул и почему-то забормотал опять «O rus! Quando ego te aspiciam!»).

– Воля твоя, – сказал он, – прогонишь, и я уйду.

Но я не прогнал, ибо, как известно, человек стоит столько, сколько знает языков, – значит, сам того не ведая, дядюшка Эко отныне (да и с самого начала – что уж скрывать) был моим счастливым банковским билетом.

Пусть случай дядюшки Эко послужит кому-то уроком, но литература, коей я посвятил себя ненадолго, оторвавшись от прочих забот, призвана в наш молодой век ещё и развлекать – так было завещано, так и поступим.

...В прошлый понедельник примчался ко мне на заре пастух Казобон и потянул из дверей, тыча пальцем в сторону своей хижины. В ночном колпаке, со сладким налётом дрёмы на веках, я последовал за ним, то и дело роняя голову на грудь, и, если бы Казобон не поддерживал меня, не тормозил, если бы глаза его не были полны столь непритворного ужаса, я, верно, так и остался бы лежать в одной из канав, созерцая волшебный сериал снов...

На куске допотопного холодильника, найденном – хотя память не самая верная из моих любовниц – во время футбольных баталий две тысячи второго года нашим ныне покойным кучером Бельбо и ставшем входной дверью в жилище Казобона, начертан был некий утёнок, державший увесистый маятник, что мерно качался (сарамба!), пока я в холодном поту не затряс головой, стяхнув наважденье. Секунду спустя по деревне пронёсся вопль, и, хотя такое бывало и раньше, теперь его не с чем было сравнить. Кричала доярка, обнаружившая утёнка на двери своего сарая и, очевидно, также обманутая спросонья чарами движущегося маятника. Собрав общий сход и выяснив, что тревожные рисунки появились на всех домах без исключения, мы покинули проклятое место и сидели теперь на большой, залитой солнцем поляне в нескольких милях от Александрии, придиричиво вглядываясь в лица друг друга, ища виноватого и внимая молитвам дядюшки Эко, латинским и русским, – на всех языках, какие он знал в совершенстве, а маленький сын гончара, страшившийся более всех паранойи, робко скулил, причитая таинственно, как ученик каббалы:

– Качубари!

И смысла его причитаний понять мы, казалось, не в силах...

«В поисках утраченного Качубари»: седьмая серия

/июль/

Индеец Гора Гугенотов слишком стар и нетрезв, чтобы достойно ответить кассиру, только что с гадкой ухмылкой кинувшему в деревянный лоток пачку мармеладных утят вместо сдачи. Однако, по-



кинув супермаркет и добравшись до резервации, Гора Гугенотов почти благодарен этому наглецу: ему начинает казаться, что утята не такая уж плохая идея, тем более Люсетта, впервые за долгое время пребывающая дома, вряд ли сподобится приготовить ужин. Подойдя к входной двери и постучав, старый индеец решает ещё раз вытащить из-за пазухи пачку мармеладок, чтобы полюбоваться украшающим её карандашным рисунком и таким таинственно-благозвучным названием «Качубари», витиевато пересекающим линию отрыва. Однако – о, ужас! – мармеладок индеец не обнаруживает. Пока он стоит перед запертой дверью («Ах, Люсетта, ты клуша из клуш!»), беспокойно оглядываясь, и суетливо обыскивает лохмотья в поисках утраченной пачки, его окликают с противоположной стороны улицы самый интеллектуальный в мире пастор:

– Что стряслось, Гора Гугенотов? Неужели пропажа?

– В точку, сэр! Я пуст, как Пруст!

Это старая шутка, но пастор вскипает и с криком «Ах ты дремучий абориген!» кидается на индейца, сотрясая воздух колоколами своих кулаков.

Гора Гугенотов охает от неожиданности и срывается с места, как увядающая лань, он мчится прочь от родного дома во весь свой старческий дух, и сердце стучит, надрываясь, пока он минует бакалейную лавку с потёками розовых граффити и заколоченный универмаг; «Мак-Дональдс» и парк развлечений, откуда под ноги ему разноцветные катятся ролики вместе с пристёгнутым к ним малышом; мимо кофейни и старика-почтальона в маске, лежащего в утробной позе на чьём-то газоне («Не сердечный ли приступ, боже мой!»); мимо пустующей церкви, над фронтоном которой..., и памятника индейцам, сложившим головы во Вьетнаме; мимо сувенирной лавки с застывшей возле неё группой русских туристов, в которой выделяется заметно прихрамывающий, седой и бледнолицый мужчина богатырского телосложения. На углу улицы Солженицына индеец чувствует, наконец, что оторвался, и обессиленно опускается на скамейку, и мы застаём его здесь, если не переключили канал.

Гора Гугенотов – младший брат индейца Острое Слово, который давным-давно вышел на пенсию, надёжно засекреченный на ближайшие две тысячи лет, с запретом на переписку, личные встречи и выезд за пределы квартиры. Когда-то, в незапамятные времена, Гора Гугенотов тоже мечтал вслед за умницей-братом попасть в поле зрения ЦРУ и, преследуя столь благородную цель, начал с поездки в ближайший порт, где трое суток общался с заокеанскими матросами и даже умудрился отлить на легендарный «Форрестол», стоящий на вечном приколе, за что его чуть не убил патриотически настроенный экскурсовод.

Накопив запасы отборной брани на более чем десяти языках, Гора Гугенотов вернулся домой и с порога позвонил в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Как только там сняли трубку, Гора Гугенотов принялся многообразно и вдохновенно ругаться, искусно имитируя не только голоса матросов, но и шум потасовок, полицейские свистки, причитания женщин с только что запятнанной репутацией – словом, всю незабвенную атмосферу недавно покинутого порта. Когда индеец выдохся и замолчал, на том конце провода зачем-то продолжительно пукнули, и связь прервалась. И всё-таки весь следующий месяц Гора Гугенотов был счастлив, словно только что избранный вождь, он гадал, в какую из ночей к его окнам бесшумно подъедет тонированный кадиллак с агентами в сером, пока случайно ни подслушал исповедь соседского мальчика по имени Рёмбо-Рембо, где тот, между прочим, упомянул, как однажды невежливо пукнул в телефонную трубку, из которой неслась отборная брань со всех пьяных кораблей Европы.

– И ты распознал её значение, сын мой? – вопрошал тогдашний, ныне покойный пастор.

И Рёмбо-Рембо кивнул.

– Так не повторяй же впредь ни того, что слышал, ни того, что сделал в тот злополучный день! *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen!*

Малыш послушно перекрестился, а Гора Гугенотов («Всего семь цифр – и так бездарно ошибиться при наборе!») заплакал от несправедливости.

Не прошло, однако, и дня, как индеец продолжил завоёвывать симпатии ЦРУ, посвятив себя целиком вечно актуальному терроризму, а также разгадыванию конандойловых человечков. Когда и это не помогло, Гора Гугенотов принялся жадно коллекционировать и отсылать в Лэнгли передовицы местных газет о своих «нетривиальных попытках суицида», которые он упорно организовывал каждый понедельник (все они были намеренно неудачными, но выдающимися, как, например, незабвенный прыжок со столба на вкопанный в землю остриём вверх металлический циркуль). Наконец, пав духом, Гора Гугенотов разыскал на окраине резервации гигантшу Люсетту, так и не отошедшую от скомканного отдыха на Мальдивах в 1991 году и постоянно сбегавшую в дурдом подлечь, но имевшую при этом одно неоспоримое достоинство: погрузившись после женитбы на ней в беспорядное пьянство, Гора Гугенотов успешно пропивал невероятную коллекцию женской обuvi целое десятилетие...

Сейчас этот несчастный индеец лежит на скамейке, залитый



дешёвым виски из супермаркета и закатным багрянцем, и лёгкий ветер – почему нет – шевелит его поседевшие кудри. Проходящее мимо дитя сочувственно укрывает его полосой вчерашней газеты, поднятой с тротуара, так что тело Горы Гугенотов растаёт с теплом под бойкой рекламой о рождении новой книги великого японского мастера Киоси Маюми, посвящённой на этот раз Качубари. И серия как будто заканчивается, но затаив дыхание, мы с благоговейным трепетом ожидаем, когда из недр индейских лохмотьев выскользнет, словно Deus ex machina, утерянная пачка мармеладных утят...

«Сон о Качубари в летнюю ночь»: восьмая серия
/август/

«И снова он катит тележку, тюремный наш библиотекарь, заглавляя книг выкликаая, подобно торговцу, несчастный, по-прежнему верит, что мы пожелаем Шекспира, но мы неприступны, нам дивных хватает фантазий, и снежных мы жаждем постелей, и девушек, в неге рассветной возлгших, но так, чтобы их загорелые ножки, вся магия бархатных линий, бутоны их губ, на которых имён наших шёпот, как влага, сияли б, слепя, из-под простынь, и нас обжигали неистовства огненный смерч и надежда сливня, и золотом солнце дрожало на шёлковых шторах, как робкий свидетель, когда мы, устав восхищаться, отправимся, войску подобно, под сень молодых крепостей...»

Мы сидим в камере для пожизненно заключённых, Сергей и Николай, с отцом и дедом Ивана Тургенева нас роднят имена, и в свой срок мы пожмём непременно их барские руки, ибо где же они сейчас, как ни в аду, подобно всем добропорядочным мужчинам, они там, где Джойс справедливо назначил темень и давку. В камерах слева и справа от нас навсегда упрятаны под замок тривиальный людоед Максим и бездомный программист из Капотни с какой-то придурковатой кличкой, сумевший взломать что-то очень секретное просто так, на «слабо».

Все эти годы Николай строгаёт деревянных чурок, имитирующих политиков прошлого, которые тюремная охрана толкает потом туристам на Малом Арбате, поэтому Сергей, в качестве исключения, имеет возможность сочинять свою ритмизованную прозу в новых дорогих блокнотах и складировать их под койкой, а Николай получает каждое утро свежий выпуск еженедельной газеты. Кажется, мы оба немного тронулись от переживаний, свалившихся на наши головы с тех пор, как мы совершили Ограбление Века, а потом, покуражившись в казино, очнулись под утро в участке. Конечно, в казино нас полностью обчистили, так что мы были не в силах ничего вернуть государству, кроме разве запоздалых раскаяний. Слава богу, до того, как нам вкати-

ли пожизненное, Николай успел пристроить Трамвайчика, а Сергей – дать развёрнутое интервью одному из телеканалов, так что теперь мы были в зените славы, растасканные на афоризмы, возведённые в ранг Робин Гудов и наследников Андрея Белого и совершенно спокойные за судьбу прожорливой твари, которую мы любили, пока она тихо дремала, раскинув огромные уши по коридору, и ненавидели, стоило ей проснуться, с этой её вечной плотоядной ухмылкой...

Вчера, в предпоследний день августа, нам приснился удивительный сон, один на двоих, только Сергей, газет не читавший, смысла его не понял, и Николаю пришлось растолковывать. *«Приснилось, как мы приезжаем в какой-то клочующий город (Чикаго!), в котором грядёт в октябре событие важности высшей (Так и есть – аукцион, на котором будут продавать семь золотых статуэток знаменитого утёнка Качубари), и там похищаем, конечно, сей странный набор, и разом становимся столь популярны у янки, что парочка Бонни и Клайд перед нами, что дети младые...»*

Ах, какой это был сон, прекрасный, недостижимый, и мы, проснувшись наутро, с грустью провожали его гаснущую иллюзию, глядя на умирающий август сквозь зарешённое окно, пока наш тюремный библиотекарь толкал свою тележку, украденную когда-то из супермаркета, и голосом ринг-анонсера выкликал легендарных боксёров:

– Лорд Байрон, Джек Лондон, Набоков, Хемингуэй... – отражённые от каменных стен, они сталкивались, яростно атакуя, танцуя и отступая, и пропадали до завтра...

Как всегда, гробовое молчание в камерах, только Максим, который вообще-то людоедом стал не сразу, успел немного побыть человеком и даже сыграл эпизодическую роль в одном из сериалов, яростно проорал вдогонку библиотекарю:

– К чёрту Ваши книжонки, дайте кино поглядеть!

И тут мы заготовали, просто не могли остановиться...

**«Море изобилия, мой дорогой Качубари...»: девятая серия
/сентябрь/**

Посылка пришла в понедельник, почтальон в маске козырнул, посоветовав и впредь пользоваться услугами «Тристеро», я сорвал упаковку, вскрыл канцелярским ножом карамельного цвета картон, вынул сначала фирменную открытку компании «Пончито Табако», генеральный директор которой без вести пропал ещё в марте, так говорят, но каков молодец: сам пропал, а дело-то движется! Отбросив открытку, я вытащил огромную энциклопедию – верхний слой их мексиканского клондайка – раскрыл, как было условлено, на ты-



сяча невестьсот восемьдесят четвёртой странице, и вот она – таблетка счастья, круглая, жёлтая, как мой любимец Качубари, приклеена в верхнем углу, и я аккуратно срезал её, освободил от скотча, положил под язык...

...на улице, чтобы увидеть мой Токио, древность, стекло и бетон, туманный, дождливый, хранящий предрассветное молчание, скромный студент Киоси в мечтах о карьере писателя, это недоразумение, говорит мой отец, но я отчаянно желаю творить, как Мураками, мой шифр, страница с таблеткой, и вот я почти прозреваю, как солнце моё вспыхивает на снежном листе Японии, и я приоткрою тайник совершенства, под водопадом надежд приближаюсь к метро, спускаюсь к его бесшумно плывущим составам, какое трогательное чувство, город внутри и снаружи целиком принадлежит мне, ни одного человека, пустые вагоны, я играю в йо-йо, болтаясь туда и обратно по Юракутё, моей излюбленной линии жёлтого цвета, такого же, как Качубари, и почему так безжалостен взрослый мир к его крошечному телу, участливому взгляду этих бусинок, к этим лапкам, в которых мне мерещится маятник, сейчас, как будто листая весь ворох опостылевших глянцевого журналов о сладкой жизни, я сталкиваюсь то с часами за сто тысяч йен, то с платьем за двести, всё едино, с буддийским смиренным во взоре их предлагает богачам мой безглагольный друг Качубари, PR-технологи торговых гигантов поработили его популярность, и меня не покидает ощущение несправедливости, когда этим сентябрьским утром, включая кинескоп и отматывая в прошлое, я представляю маленькую девочку в заляпанных по пояс штанишках, она бежит, и хохочет, и прижимает к груди несуществующего, но оживлённого детской верой утёнка, его сердечко трепещет под маленькими ладошками, она гладит его, говорит ласково и делово, как взрослая, Качубари, мой милый, гляди-ка, мы совсем чумазые, да, Качубари, которого она сочинила, её друг из королевства фантазий, как, наверно, тяжело ей сейчас, повзрослевшей, даётся созерцание стеклянных витрин, в которых отражается плюшевый и платиновый, сделанный из чего угодно, герой, размноженный на сотне безделиц, я размышляю, какая она, пока поезд подходит к Иидабаси, и верю, что смогу угадать её красоту, как прозреваю тот миг, когда алое солнце подожжёт зеркала небоскрёбов, прекрасная, как касание волшебства, сотворившего ангелов из голубей, её светлые волосы, каких никогда не носить японке, в любой из причёсок полны совершенства, так сказочный замок всегда притягателен, сколько бы мы ни творили его вариаций, и красота её, разная во всякое время суток, сезонов, ускользает, неподвластная словам, я думаю о ней, недостижимой, с улыбкой, которой освещены мои сны, которая выше всего, что я разумею, и я выхожу из метро, устав от йо-йо, реклама, по-

всюду реклама, смешение звука и цвета, кадры, мелькающие поочередно в пылевых столбах минувшего под неумолчный хор мыслей, но больше ничего не различить, скорее на свет, снова ступать по тысячелетним камням, там, слева, лопаются фонтаны, и в просчитанном шуме их струй я слышу приветственный шёпот «Маюми, Маюми», я знаю, однажды я научусь любить тебя по-настоящему, моя Япония, научусь быть достойным тебя, стану великим, и, когда развеется прах мой, память обо мне, заслуженная каждой строкой, будет вечно служить твоим горизонтам, я иду, угадывая божественное в её карандашных штрихах, я думаю о Качубари, в огромном мире дешёвых трюков ты один достоин называться бесценным, я мечтаю спасти тебя, мой маленький друг, последний маяк тонущей цивилизации, спасти от армии клонов, которой тебя окружили, от глупости и стяжательства, поведать о тебе правду, которой не знают алчные порабитители, и тогда море изобилия, мой дорогой Качубари, снова войдёт в сияющие берега, и я приду, и сяду на старом пирсе, и буду глядеть на облака, твой смиренный Киоси, на восход и тугую волну, и думать о счастье, спокойствии, будущей жизни, я буду думать о ней и о тебе...

«Унесённые Качубари»: десятая серия
/октябрь/

I

...Вот же дьявол! Снова эти орущие малолетки тянут ко мне руки толщиной с удавку и пускают слюну, они хотят меня, хотят трогать мои татуировки, увлажнять языком мои мускулы, жаждут моей пулемётной речи себе на ушко, разбогатеи или сдохни, они хотят слышать это, постанывая от удовольствия. Мир той, что извергла меня из лона в свои неполные пятнадцать, мир толкачам крэка, мир девяти пулям во мне, мир тем временам, когда я таскался боксировать к Джексону, и жал пот, и знал, что однажды поймею свою нищету. А теперь, говорю я этим чертовкам, довольно, хватит так смешно напрягаться, смотрите, как бы ни лопнули ваши маечки, я сажусь в тачку и отваливаю в Чикаго, я номер первый, слышишь меня, белый кролик, я еду поглазеть на золотые статуэтки, и куплю их все, и вот тогда надрывай глотку, вселенная, твой идол – вот он, во всей красе, давай же, лови чёртов ритм, ори от восторга: «Хей йоу, Фифти!»

II

...Владимир Бесчастных не стригся целую вечность, непослушные львиные кудри налезают на лоб, как вражеская пехота, двести семьдесят дней в Конго, а он так и не загорел, по-прежнему бледно-



лицый богатырь, как в незабвенном две тысячи втором, когда он не попал по японским воротам, а потом мучился бессонницей, убедив себя, что московские погромы – его вина. Теперь он путешественник и коллекционер, виднейший из всех, кто по зову сердца или в угоду модным тенденциям колесит по миру, параллельно собирая всё, что касается малыша Качубари. Футболки, значки, флаги, бейсболки, календари, этикетки, брошюры, видеофильмы, журналы, марки, брелоки с изображением утёнка – вся эта дешёвая чепуха давно покоится в подвале его загородного дома, теперь богатырь жадно ищет и скупает то, что может позволить себе не каждый. Сегодня – как раз такой случай, он встал рано утром, чтобы покататься туда-сюда по Скоуки-свифт, жёлтой линии чикагского метрополитена, потому что она приснилась ему в Конго, а вечером помчится в квартал небоскрёбов на ежегодный аукцион, чтобы, опередив других богачей, купить первую из семи золотых статуэток легендарного утёнка...

III

Дорогой Марлон!

Когда ты, наконец, запомнишь, что скоростной Интернет в Кисангани найти труднее, чем организовать революцию! Прошу тебя, впредь больше никаких ссылок на видео! Трубила же как-то эта твоя «труба» без меня, так пусть и дальше сливаются в неё все новостные помои, я не маниакальный горнист и не любитель грязи, с какими ты, очевидно, водишь компанию. Поиск доступа к ролику, который ты назвал «выдающимся» (святой боже, Марлон, я был о тебе лучшего мнения!), породил длиннейшую цепочку контактов, и, желая отомстить тебе, я восстановлю её целиком.

Сначала я нашёл в старом блокноте телефон коротышки Газини, который знает всех местных проституток, но трубку сняла его бывшая, очень рассерженная дама, поэтому его новый адрес стоил мне сотню зелёных (ты знаешь, я не меркантилен, заплатил – украду, но я каталогизирую потери, чтобы ты понял, сколь утомительно было моё продвижение). Разысканный Газини запросил за номерок Фифи золотой перстень, который я стибрил намедни у какого-то субчика из Китая, по виду – разведчика, они здесь что-то вынюхивают, наверно, хотят вколоть африканцам немного коммунизма, но нам хоть бы хны, даже империя гамбургеров возится тут напрасно. Не пучь глаза: мой сленг – моё прикрытие. Только так здесь можно выживать и делать бизнес, чтобы не потерять навык, я тренируюсь ежечасно, вот и послание к тебе решил немного стилизовать. Так вот, мой дорогой, решительно все: и болванистые русские, и паства его величества хакакири, и прочие – возятся здесь напрасно. Таков уж дух этой страны, неизменный, что прыщик на твоём носу. Представь, Марлон, как, стоя на самом краю вселенной, ты отливаешь в пропасть, у которой вышибли дно. Куда же летит твоя жёлтая линия?... Именно! Вот тебе метафора Конго!

Фифи, хоть и была на пенсии, захотела, чтобы я переспал с ней, потребовалось откупаться. Но женские обиды стоят дороже капризов, так что адрес шпиона Гакэру, любимца всех местных жриц любви, обошёлся мне в четыре чистейших жемчужины. Гакэру свёл меня с англичанином, слащавым подонком по имени Томми, он изрёк, что поможет, однако... Боже правый, Марлон, даже повторять противно! Пришлось выбирать иной путь, так что на этот раз платила противная сторона: встреча со мной стоила Томми нескольких зуботычин.

Вариант «Б» (бывший палач Абрафо) познакомил меня с Чидибером (Бог и вправду милосерден!), наконец, мне улыбнулась удача: старшая сестра Чидибера мыла полы в доме некоего наркоторговца (я пишу некоего, чтобы не заподозрили рекламу, здесь с этим строго, ибо каждый, если не на деле, то уж точно в душе, денно и нощно толкает крэк). «Некий», затребовав алмазы, которые мы с ребятами отбили у банды Могучих Мужчин, перестреляв их, как зайцев в тире, свёл меня – выдохни, я завершаю – с парёнком по имени Мудива. Здесь это значит «возлюбленный», чёрт их дер! Мудива – вот единственный в Конго источник скоростного Интернета, за который не придётся платить развратом! Я выложил двести семьдесят тысяч евро, любезный Марлон, чтобы посмотреть ролик продолжительностью три минуты четырнадцать секунд. Макс Коэн рассчитает тебе затраты на единицу времени. Ищущий да обрящет, но не дорогою ли ценой?! Впрочем, *ut supra*, нервные клетки мои дороже золота, и они не восстанавливаются.

Сказать, что я расстроен содержанием увиденного, – значит бессовестно слухавить. Я люблю тебя, Марлон, но ты тронулся умом, если полагаешь, будто семь недоумков в нелепых жёлтых костюмах, врывающиеся посреди бела дня в охраняемое здание, чтобы похитить крошечные статуэтки, вызовут у меня что-то, кроме гневной тирады или животного гогота. И, учитывая, во что мне стало созерцание этой нелепости, ты услышишь, скорее, первое. Страна, где я нашёл себе временное пристанище, поёт воровству осанну, и, поверь мне, то, что ты, пусть и метущий полы в полицейском участке, полагаешь Ограблением, не более чем глупая выходка. Конго учит лучше вникать в эйнштейнову относительность. Ночью я могу выкрасть семь таких же безделиц (только ради забавы, заметь), но днём, да ещё и в Америке, я не пошёл бы на это даже ради тебя, Марлон, даже ради нашей несчастной бабушки. Те, кого ты назвал «чикагской семьёркой» (ох уж эти твои прозрачные аллюзии), – всего лишь скучнейшие клоуны, к тому один из них, икавший во время налёта с такой силой, что копы в страхе складывали оружие



(а я богобоязненно крестился), нацепил, как и подобает паяцу, костюм большего размера, скажи, не на потеху ли?!

Это дурной фарс, дешёвый пишик, площадной балаган с уродами, и свалившаяся на их головы *fata stamosa* лишний раз доказывает, сколь падки американцы (судя по комментариям, и все остальные) на эфемерные сенсации. Лишь одну радость доставил мне этот ролик: момент, когда оператор выбегает на улицу («Это видео выложил сам Фифтисент!») – пишишь ты, но что за барабанная дробь раболепства! Кем бы он ни был, этот обожаемый тобой господин, я предложил бы ему повысить самооценку, по крайней мере, качество записи стоит дороже, чем он поименовал себя»). Ах, Марлон! Улица! С трепетом в душе я, наконец, увидел Чикаго, пусть мельком, но как он прекрасен, волшебный сон, приснившийся Жаку Маркетту! И почему я выбрал Гарвард, мог ведь провести незабываемую молодость в Городе ветров! Но ошибки нам предначертаны, ибо сказал же великий Цезарь:

– *Est rerum optium magister usus!*

Да, пока не забыл. Тот «белый богатырь», как ты его величаешь (возрадуйся, что не знаком с нашим киллером Чилонголо, вот уж кому приличествует твой нескромный былинный эпитет), тот львиноголовый безумец, который, пытаясь догнать налётчиков, угодил под машину, но мгновенно вскочил и продолжил нестись за семьёркой ряженных, уже изрядно хромая (Маргарет Митчелл повезло меньше, а жаль), словом, этот уникальный персонаж мне знаком! Да и ты, Марлон, кое-чем ему обязан, не удивляйся. Помнишь ролексы с бриллиантом, которые я отправил тебе на День рождения? Так вот, подарок твой был оплачен из кошелька этого бледнолицего! Занесло его как-то в Кисангани тебе на счастье, а мне на потеху.

Вот и всё, дорогой! Спрошу для приличия, как там погодка в Олбани? Здесь, разумеется, некло, и это по мне! Ты спросишь, с каких же пор?

– Твои африканские корни берут своё, и это верный путь к успеху! Превозноси жару, и тебе воздастся: подвяжешься в аду бригадиром котельщиков.

Так мне сказал Заратустра, местный фрик и шаман, за пророчество пришлось заплатить редчайшим самиздатом Солженицына. Не округляй глаза, темнота, это очень крупный писатель, выгнанный в наши советскими коммунистами. Ах, да, памятью о твоей необоримой Лености (хотя ты тянешься к дивану своему совсем не по тем же причинам, что Пинчон) и будучи уверенным, что даже Гугл ты не откроешь, чтобы прояснить непонятное, позволь просветить тебя, дорогой недоучка, что былинный – это от слова былина, народная эпическая песня о подвигах богатырей. Ах, русские, ах, фантазёры! *Rax vobiscum!*

На том завершаю. Передавай привет бабушке и не возвращай малолетних.

Любящий тебя брат Нкемдилем,
a.D. MMXI

IV

...Иногда мне кажется, он умеет разговаривать, но молчит, думая о чём-то важном вроде смысла жизни и собственной славы, которая так тяготит, он мечтает вернуться в Камыши, на стол той девушки, помнишь, что его нарисовала, и никуда больше не исчезать, не множиться в сети, минуя ловушки проныр и магнатов, просто лежать и выцветать на солнце, падающем поверх гигантских игрушек, водруженных, может быть, на подоконник или на спинку её кровати... Он думает, что время, которое нам отмерено, мы тратим бездумно, любуясь его проплаченной идеальностью, поддельным мессианством, поддерживая вселенскую паранойю вокруг его скромного тельца... Между тем, маленький Качубари из прошлого – вот кто останется на века, вынырнув из пугающего Зазеркалья... Когда-нибудь, устав от печали, он поднимет лапы и закроет ими глаза, радостно причитая: «Я спрятался». Открытка из детства, альтернативная история...

Погоди-ка, ты следишь за моей мыслью?

«Качубари в Стране Чудес»: одиннадцатая серия /ноябрь/

Развернув карту мира на пушистых коленках, глядевших, словно желтки со сковородки, сквозь прорези в модных джинсах, месье Качубари, галантный прохвост и тигуля, прищурился и ткнул наугад плюшевой лапой. «Вот! – радостно возгласил он, открыв глаза. – Я еду в Пальпо Пио-Пио!»

– А что это, Палипилипио?

Ты не даёшь мне рассказывать, погоди...

– Извини, папочка, я просто хотела узнать, что такое Палипилипио...

А ну-ка молчок! Слушай дальше. Месье Качубари, истинный фронт и надушенный покоритель просторов, шагнул в купе скорого поезда «Совершенство» и отправился...

– Папочка, пусть он лучше поплывёт, он же утёнок! Или полетит, как Винни Пух!

...и отправился за границу, как будто влекомый фантазией, он...

– А что такое ликомый?

Это значит, что кто-то словно звал его к себе, понимаешь?

– Ага! Но пусть он лучше поплывёт, пока совсем ни уехал! Ну пожалуйста!

Кнопочка, эту сказку сочинил не я, позволь мне рассказывать, как было на самом деле.



– Ладно. А где мой Качубарик?

Вот он, и больше не роняй. Ты будешь слушать дальше? Ну так вот. Месье Качубари, щёголь из щеголей... это значит, что он был очень модно одет, как твоя мама, но не совсем, потому что Качубари – это он...

– Я понимаю.

Умничка! В шёлковом шейном платке и маятником в лапах, месье Качубари...

– А что такое майнитик?

Э... Ладно, давай, он маятник потерял, хорошо?

– Почему?

Просто так. Отвлёкся и забыл, куда положил. Вот как ты теряешь своего Качубари, точно так.

– Ладно. Паап, я спать уже хочу...

Хорошо. Конец!

– Ну подожди, поговори со мной ещё минуточку!

Тогда слушай, совсем быстренько расскажу. Месье Качубари ехал, согревая дыханием замёрзшие стёкла, потому что была зима, и потом он уснул, покачиваясь на мягких подушках, и во сне он верил, что его путешествие будет удачным, а в волшебной стране Пальпо Пио-Пио ему нарисует портрет художница с самой красивой улыбкой, она будет наносить карандашные штрихи, то и дело покусывая розовый ноготь, примериваясь, как лучше передать его сиятельные пропорции, а ещё ему снилось, что эта художница очень похожа на маленькую девочку, совсем такую же, как ты сейчас, с которой он играл давным-давно и которая придумала ему это звонкое имя «Качубари». В его воображении обе они, крошечная и взрослая, слились в один ласковый образ, а за окном уже поплыли зонтики пальм, и попугаи, переливаясь на солнце, понесли под облака, выкликаая название поезда, но месье Качубари ещё не проснулся, он тревожно морщился, ему грезилось, как со всех сторон наступают недружелюбные взрослые и невоспитанные сорванцы, но маленькие ладошки вовремя укрывали его от беды, и те же руки, только с розовыми ногтями, продолжали сочинять наилучший портрет утёнка... Так он и ехал в сказочную страну, наш достоверный маленький принц, с заплаткой вместо короны, застенчивый и весёлый, добрый маленький друг... Поезд гудел, и сквозь сон ему слышалось долгое: «Ка-чу-ба-ри»...

**«Если однажды зимней ночью Качубари...»: двенадцатая серия
/декабрь/**

Надписав испачканную соусом салфетку и дежурно улыбнувшись, ты обращаешься:

– На чём я закончил, простите?

Атмосфера абсолютного благополучия, в которой ты пребываешь, – колыбель тоски, и тебя в который раз устрашает грядущая бездна. Та, что напротив, хороша собой, но в тебе почил даже животный инстинкт, ты вяло шевелишь губами, отвечая на вопросы, чересчур серьёзные, причёсанные её сомнительным интеллектом. Чтобы развлечься, ты не к месту упоминаешь, как полуголый Исаак Ньютон являлся тебе в кошмарах осеннего цикла, она моргает и сглатывает, зеркальца губ подрагивают, и приглушённый свет от торшера нервно дрожит на её «Мэйбеллин», оттенок гранат. Ну да, повторяешь ты с жалкой ухмылкой, тут нечему удивляться: гравитационные бредни, подспудный страх смерти, так что шепчешь, словно этот чёртов полковник Курц: «Ужас... ужас...». Ты замечаешь, как волнительно пунцует её круглое личико, и всё равно это слабое утешение. В твоём заднем кармане потрёпанный томик Кальвино, но желание наброситься на его шедевр с забавным заглавием пропало, тягучие ленчи успеха поглотили тебя, старина.

А ты, милочка, сидишь напротив, новые туфельки жмут так нестерпимо, что боль, кажется, разливается отовсюду и поднимается, захватывая точёные икры. На что ты рассчитывала, получить это задание? Тебе казалось, что мистер Kirillov (ты смягчаешь последний слог, обращаясь к нему, будто дуешь на ранку: lof, lofff...) выложится, как в первый год своей славы, и обрушит на тебя поток информации, возможно, вспомнит что-нибудь новое, и твой редактор вяло промычит «умница», когда материал окажется под его несуразным носом, похожим на ковш экскаватора. Ты американочка двадцати трёх лет, рождённая знойной гавайкой и сердцедёром-французом, но родители – просто поблёкшие фотоснимки, не существующие в электронном варианте. Он – кумир твоего поколения, поникший весельчак со сломанной челюстью, сросшейся диковинным образом, с глазами лентяя и ухмылкой бульдога, просто счастливеец, придумавший, как правильно употребить очаровательного утёнка в прагматичный двадцать первый век...

Уставившись в текст, ты, Читатель, беззащитно моргаешь, пытаешься сложить мозаику сведений в нечто существенное, растолковать замысел, распутать клубки влияний, заглянуть сквозь истинные маски героев. В плену романтической зависимости, довлеющей над разумом всякого, кто сколько-нибудь знает о восхождении Качубари, о лучах славы, пронзивших его карандашные очертания, ты тщетно пытаешься воссоздать полную картину, но, не имея на руках образца, вынужден то и дело обращаться к началу. В твоих зрачках, осветив на единственный миг очарование тайны, вспыхивает догадка.

И гаснет...



Информация об авторах*

Косогов Владимир Николаевич (*Железногорск – Курск*). Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Ничто не случайно»). Связь с автором – kosogov86@inbox.ru

Шмаракowa Людмила Львовна (*Тула*) – руководитель театральной студии «Мюсли» при Тульском государственном университете; гид-сопровождающий туристической компании «Туртранс-Вояж». Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Исповедь маски»). Связь с автором – llsh@rambler.ru

Волобуева Анна Алексеевна (*Курск*) – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения Курской академии государственной и муниципальной службы. Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Исповедь маски»). Связь с автором – volnetta@yandex.ru

Рубанов Роман Владимирович (*Курск*) – студент 5 курса факультета теологии и религиоведения Курского государственного университета. Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинации «От окраины к центру» и «Ничто не случайно»). Связь с автором – rubanovro82@mail.ru

Бобровская Ирина Сергеевна (*Курск*) – студентка 4 курса художественно-графического факультета КГУ. Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинации «От окраины к центру» и «Исповедь маски»). Связь с автором – bobrovskaya.irina@yandex.ru

Мурашов Иван Юрьевич (*Москва*) – ученик 10 класса ГОУ СОШ № 53. Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Исповедь маски»). Связь с автором – samur131@mail.ru

Михайлова Татьяна Михайловна (*Тверь*) – переводчик немецкого языка; журналист. Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Ничто не случайно»). Связь с автором – tami25@mail.ru

Корчевский Алексей Анатольевич (*Курск*) – аспирант кафедры аналитической химии Курского государственного университета; преподаватель химии МОУ СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского и МОУ СОШ №14. Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинации «От окраины к центру» и «Исповедь маски»). Связь с автором – akximik46@list.ru

* Действительна на момент окончания II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» (май 2011 года).

Язынин Владимир Владимирович (Липецкая область, г. Чаплыгин). Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Ничто не случайно»). Связь с автором – Gornjak-lena@rambler.ru

Мараков Вячеслав Вячеславович (Рыльск – Курск) – студент 4 курса филологического факультета Курского государственного университета. Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Исповедь маски»). Связь с автором – vyacheslav-marakov@yandex.ru

Яхович Борис Николаевич (Орёл). Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинация «Ничто не случайно»). Связь с автором – borees@bk.ru

Гаврилов Григорий Анатольевич (Орёл) – аспирант кафедры журналистики и связей с общественностью Орловского государственного университета. Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Поэзия» (номинации «От окраины к центру», «Исповедь маски» и «Ничто не случайно»). Связь с автором – gavgrig@yandex.ru

Ортега Татьяна Александровна /творческий псевдоним Анна Вальевская/ (Курск) – студентка 4 курса филологического факультета Курского государственного университета. Лауреат II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Проза» (номинация «Лавка сновидений»). Связь с автором – a.valewsckaya@yandex.ru

Сотников Иван Владимирович (Курск) – сотрудник рекламного агентства «Бомба». Финалист II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Художественно-публицистические жанры» (номинация «Память, говори»). Связь с автором – d.chuzhoy@gmail.com

Королёв Андрей Борисович (республика Башкортостан, г. Уфа) – магистрант кафедры истории литературы XX века Башкирского государственного университета. Дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Проза» (номинация «Лавка сновидений»). Связь с автором – uskremac@gmail.com

Краснов Владимир Павлович (Новгородская обл., г. Боровичи) – главный редактор еженедельника «Красная искра». Лауреат и дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Художественно-публицистические жанры» (номинации «Память, говори» и «Размеры моей надежды»). Связь с автором – akvarel50@list.ru



Губарева Наталия Владимировна (*Курск*) – аспирантка кафедры истории философии Курского государственного университета; собственный корреспондент РИА Новости в Курской области. Лауреат и дипломант II ежегодного литературного конкурса КГУ «Проявление» в секции «Художественно-публицистические жанры» (номинации «Размеры моей надежды» и «Память, говори»). Связь с автором – nvg1986@list.ru

Салов Алексей Игоревич (*Курск*) – ассистент кафедры литературы и методист управления по воспитательной работе Курского государственного университета; автор идеи и координатор проекта «Проявление». Связь с автором – al_salov@list.ru

